



КАТЕРИНА МУРОМОВА
НАТАЛЬЯ МАНЮРОВА

Синие Киоты
Звезда перед рассветом
КНИГА ТРЕТЬЯ

Екатерина Вадимовна Мурашова
Наталья Майорова
Звезда перед рассветом
Серия «Синие Ключи», книга 3

*Текст предоставлен правообладателем
Звезда перед рассветом:*

Аннотация

Война сменяется революциями. Буржуазной февральской, потом -октябрьской. Мир то ли выворачивается наизнанку, то ли рушится совсем. «Мои больные ушли. Все поменялось, сумасшедший дом теперь снаружи», – говорит один из героев романа, психиатр Адам Кауфман. И в этом безумии мира Любовь Николаевна Осоргина неожиданно находит свое место. «Я не могу остановить катящееся колесо истории, – говорит она. – Вопрос заключается в том, чтобы вытащить из-под него кого-то близкого. Пока его не раздавило.» И она старается. В Синих Ключах находят убежище самые разные люди с самой удивительной судьбой. При этом ни война, ни революции, конечно, не останавливают обычную человеческую жизнь. Плетутся интриги. Зарождается симпатия и ненависть. Возникает и рушится любовь. Рождаются и растут дети.

Содержание

Пролог,	5
Глава 1,	9
Глава 2,	16
Глава 3,	26
Глава 4.	32
Глава 5,	39
Глава 6	45
Глава 7.	49
Глава 8,	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Екатерина Мурашова, Наталья Майорова Звезда перед рассветом

Не утешай, оставь мою печаль
Нетронутой, великой и безгласной.
Обоим нам порой свободы жаль,
Но цепь любви порвать хотим напрасно.

Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю, что так любить безумно,
И страшно мне, как будто смерть, грозя,
Над нами веет близко и бесшумно...

Но я еще сильнее тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею, –
До ужаса сливаю жизнь мою,
Сливаю душу я с душой твоею.

И без тебя я не умею жить.
Мы отдали друг другу слишком много,
И я прошу, как милости, у Бога,
Чтоб научил Он сердце не любить.

Но как порой любовь ни проклиная –
И жизнь, и смерть с тобой я разделю,
Не знаешь ты, как я тебя люблю,
Быть может, я и сам еще не знаю.

Но слов не надо: сердце так полно,
Что можем только тихими слезами
Мы выплакать, что людям не дано
Ни рассказать, ни облегчить словами.

(Д. Мережковский)

Пролог, в котором два давних друга говорят о важном – о детях и о войне.

– Дети, дети, дети... – Лев Петрович Осоргин побарабанил длинными узловатыми пальцами по подлокотнику кресла, подергал его из стороны в сторону, потом вытянул руку и погладил ластящуюся к его ногам полосатую кошку. – Мы никогда их не понимаем – вот в чем дело!

– Было бы что понимать, – буркнул профессор Юрий Данилович Рождественский и острым взглядом окинул худую и долговязую фигуру друга. – Лео, ты дурно выглядишь. Говорю как врач: тебе стоило бы вплотную заняться своим здоровьем. Все эти истории с непонятными и непонятными детьми не прошли тебе даром...

– Ах, Джорджи, я просто состарился и уже ни в чем не могу разобраться должным образом. Был век науки и просвещения. Возрастало знание, готовились и проводились реформы. Что происходит теперь? Двое моих сыновей и трое племянников на фронте. Еще двое юношей из нашей семьи – в Алексеевском училище, проходят ускоренный курс подготовки офицеров военного времени. Марселю четырнадцать, его уже два раза возвращали домой после побега. Один раз он почти добрался до действующей армии. Германия, страна Гете и Вагнера, основной экономический партнер России – наш враг...

Угловатый силуэт Льва Петровича, выпрямившегося в кресле, смутно отражался в темном стекле стенных часов, за которым ходил туда-сюда маятник в виде корабельного паруса. Движения маятника и рук Осоргина, не знающих покоя, казались синхронными. За окном, за опущенной бархатной шторой, ровно шуршал бесконечный осенний дождь.

– Лео, дорогой, тебе нельзя так нервничать. Война так война – что мы-то с тобой тут можем поделать? И... да ради бога, возьми ты что хочешь с полки или со стола! Ты же сейчас отломаешь подлокотник или протрешь дырку в жениной кошке. А лучше всего держи вот этот листок, карандаш и нарисуй мне сейчас плывущий кораблик. Я положу его под стеклом на столе у себя в университетском кабинете...

– Да, да, понимаю, я действительно привык, что руки у меня всегда заняты – рисунки, чертежи, макеты, если этого нет, я все трогаю, это раздражает...

– Не говори ерунды, я волнуюсь за твое состояние. Ты был в Петербурге. Что там? Что Луиза?

– Это странно, Джорджи. Люди вели себя так, как будто все давно ждали этой войны. Как избавления, как манны небесной. Говорили, что это «последняя война на свете», «война против войны». На следующий день после объявления о вступлении России в войну на Дворцовой площади собрались тысячи людей, чтобы приветствовать императора. Николай поклялся на Евангелии, что не подпишет мира, пока хоть один враг будет находиться на русской земле, а потом вышел на балкон Зимнего дворца. Тысячи людей встали на колени и запели «Боже, царя храни...». Думаю, что за двадцать лет царствования этого монарха он впервые чувствовал такое единение с народом, которое, наверное, могло бы вдохновить, привести к действительным переменам... Но что я понимаю в монархах?

Луиза по-прежнему находится в клинике, попросту в сумасшедшем доме. Но это в любом случае лучше того, что ей грозило – каторги или казематов Петропавловской крепости. Она тоже очень рада войне. Говорит, что война перейдет в революцию и сметет всю гниль старого мира. Спросил напрямую: вместе с нами, твоей семьей? Она ответила: если понадобится, то – да. Как ты думаешь, Джорджи, может быть, она и вправду безумна?... Дети,

дети... Но вот твой сын Валентин, он ведь кадровый военный, генштабист, у него должны быть сведения из первых рук: когда все это закончится?

– Ах, Лео, грустно говорить такое о единственном сыне, но Валентин у нас, при всех его несомненных достоинствах, получился... как бы это сказать помягче... ну, глуповат, что ли...

– Джорджи, что ты такое говоришь! Я уверен, что в Академии Генштаба не держат дураков. К тому же – в избранной им области знаний Валя всего добился сам, без всякой протекции, на каждом этапе преодолевая еще и твое неприятие его военной карьеры. Это ли не признак...

– В области знаний? Что ты, собственно, имеешь в виду? Его специальность – артиллерия. Стало быть – стрельба из пушек? Поиск наиболее рационального и эффективного способа превращения чудесного человеческого тела, увенчанного потрясающим, великолепным мозгом, – в кровавые ошметки? Прелестный выбор, я просто в восторге! Отец всю жизнь спасает и лечит людей, а сын радуется о том, как их убить или искалечить – побольше и побыстрее... Да, впрочем, ты хотел знать его мнение о войне, так вот – прочти, – Юрий Данилович открыл ящик стола, достал оттуда конверт и вынул из него два листка, исписанных крупным и четким, без всяких завитушек и украшательств подчерком. – Это письмо Валентина ко мне. Не волнуйся, хотя оно и доставлено нам в обход военной цензуры, в нем нет совершенно ничего приватного. Читай!

«Из расположения второй армии, Кржиновлога, июля 25 числа, 1914 года

Приветствую тебя, отец!

Итак, свершилось.

Настало-таки время отложить в сторону перья, градусники и фолианты и поработать пушкам.

Поистине дрожь нетерпения пронизывает мои члены, когда я думаю о том, что на своем веку увижу сбывшимися многолетние чаяния России – контроль над Проливами и возрождение христианских святынь Константинополя. И даже приму в этом самое непосредственное участие. Исторические картины встанут перед глазами... Чувствую себя рыцарем в сверкающих доспехах, во славу России воюющим за Гроб Господень!

Однако, обо всем по порядку.

Как ты, возможно, помнишь, после окончания обучения в Академии и присвоения мне звания капитана генерального штаба я получил назначение в Белостокский полк начальником штаба полка, где с увлечением и полной отдачей занимался обучением и воспитанием подчиненных мне солдат и обустройством лагеря.

Нет смысла упрекать штатских жителей столиц в том, что все они не верили в близкую возможность большой войны. Даже в моем полку до последней минуты все было проникнуто тихим провинциальным уютом.

На рынке около лагеря наскоро сколоченные столы ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, синих баклажанов, лилового сладкого лука, иматков тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас. Над тучными полями звенели жаворонки. В нагретых солнцем садах плыла нега. Полковые дамы варили варенье и бочками солили огурцы. Лагерь содержался мною и моими подчиненными в образцовом порядке – ослепительно белые палатки, разбитые солдатами красочные цветники, аккуратно посыпанные песком дорожки...

И вдруг 16 июля в пять часов из Варшавы прибыл секретный пакет о немедленном приведении всех частей в предмобилизационное положение.

Тут же был отдан приказ о переводе полка из лагеря в зимние казармы. Лагерь предназначался для размещения второочередного Ломжинского полка.

На следующее утро все офицеры полка были собраны в штабе для изучения мобилизационных дневников, хранившихся в несгораемом шкафу. Закипела работа, полк стал походить на гигантский муравейник.

Еще через два дня пришла телеграмма о всеобщей мобилизации русской армии. Вместе с командиром полка и казначеем мы отправились в отделение государственного банка и вскрыли сейф, в котором хранились деньги, предназначенные на мобилизационные расходы.

В тот же день все офицеры полка получили подъемные, походные, суточные и жалованье – за месяц вперед и на покупку верховых лошадей теми, кому они были положены по штатам военного времени.

При этом еще никто не знал, с кем придется воевать, и только 20 июля стало известно, что Германия объявила войну России. Потом дошла весть, что наряду с Германией войну России объявила и Австро-Венгрия, и нам было объявлено, что армейский корпус, в состав которого входил Белостокский полк, должен выступать в поход против австрийцев.

В полк тем временем начали прибывать запасные. По военно-конской повинности уже поступали и лошади. Я получил отлично выезженного гнедого жеребца, которого мой ординарец назвал Вихрем.

К утру пятого дня своей мобилизации полк был готов к походу. Командир полка приказал вывести его на ближайшее к казармам поле и построить в резервном порядке, то есть два батальона впереди и два во второй линии в затылок первым с пулеметной и другими командами и готовым для похода обозом на положенных местах.

Командир полка выехал на золотистой кобыле. Его встретили бравурными звуками военной музыки. Медные, до умопомрачительного блеска начищенные трубы полкового оркестра торжественно горели на солнце, приодетые, вымывшиеся накануне в бане солдаты застыли во взятом на командира равнении, блестели выравненные в ниточку штывы, несмотря на жару, на солдатах были надеты через плечо скатки (может быть, тебе будет интересно узнать, отец, что полная выкладка российского солдата насчитывает 30 кг, против 24 кг у солдата германского – но эта необходимая в военном походе ноша вовсе не тяготит наших солдат-братушек). И, право, построившийся на поле четырехбатальонный, полностью укомплектованный по штатам военного времени пехотный полк не мне одному представлялся внушительным и восхитительным зрелищем.

Командир обратился к солдатам с короткой речью, объяснив, что Россия сама ни на кого не нападала, не начинала войны и лишь заступилась за родственный нам, славянам, сербский народ, подвергшийся вооруженному нападению со стороны Австро-Венгрии. Предложив солдатам чувствовать себя в полку, как в родной семье, он закончил емкой, но трогательной фразой о подвиге, которого требует от нас Россия и верховный вождь нашей русской армии государь-император Николай

Второй, и днесь царствующий на русском престоле. Солдаты трижды прокричали «ура».

Так прошла мобилизация и мы все были ею довольны.

На следующий день рано утром, после отслуженного полковым священником молебна, полк торжественно прошел через весь Белосток и, выйдя на шоссе, двинулся к железнодорожной станции, где погрузился в вагоны, чтобы следовать на запад, в район Ломжи и Остроленки.

Дорогой отец, отправляю тебе это письмо с неожиданной оказией, с узловой станции.

Скоро в бой. Мы все в нетерпении. Несмотря на то, что эта война вряд ли продлится больше четырех месяцев, ее наверняка назовут Великой. Потому что по сути это война против всяческой войны. Последнее грандиозное сражение в Европе и окрестностях, которое наконец позволит устроить мир наилучшим образом: так, что Российская империя займет в нем подобающее ей место, удовлетворит свои многовековые чаяния и получит необходимый простор для своего дальнейшего развития и процветания. И верь, отец, твой сын приложит все силы, чтобы Россия и ты могли им гордиться. А если мне суждено пасть на полях сражений, то знай: моя гибель не напрасна – великая и могучая империя на все времена будет мне лучшим памятником!

Передай также мой привет и любовь маме и всем в Москве, кто меня еще помнит.

*Остаюсь навсегда преданный вам, России и Государя Императора сын
Валентин Юрьевич Рождественский,*

Гвардии майор, начальник штаба Белостокского полка»

– Гм-м... Что ж, у твоего Валентина хороший слог, – сказал Лев Петрович, возвращая письмо и снова берясь за карандаш. – И он явно находится на своем месте. Хорошо, если его прогноз относительно продолжительности войны сбудется. А пока – помогай ему Бог!

– Да, да, безусловно, – вздохнул Юрий Данилович. – Совершенно нечеловеческая складывается ситуация. Только Бог нам всем сейчас и поможет. А если Его все-таки нет? Тогда – что?

Будто в ответ ему дернулся крылатый маятник стенных часов, стрелки сошлись, и старинный механизм провозгласил полдень – чистым, рассыпчатым звоном райских колокольников.

Глава 1, в которой супруги Осоргины выясняют отношения, а читатель посещает представление детского площадного театра.

– Это безобразие следует прекратить самым решительным образом! Немедленно! Любовь Николаевна! Люба! Ты меня вообще слышишь?! – Александр Васильевич Кантакузин, хозяин имения Синие Ключи, стоял на парадных ступенях и сверху вниз смотрел, как на аккуратном и все еще зеленом, несмотря на осень, газоне его жена играет сразу с тремя собаками.

Собаки дурашливо лаяли, припадая на передние лапы, и подскакивали, как большие разноцветные мячи.

Лицо помещика, с правильными чертами, скорее картинное, чем по-настоящему привлекательное, выражало, пожалуй что, гнев. Но некоторые сомнения отчего-то возникали – не было ли помянутое чувство изображенным, в реальности не испытываемым?

– Слышу, Александр, разумеется, я тебя слышу, – безмятежно откликнулась Любовь Николаевна, миниатюрная молодая женщина, одетая в просторный плащ с капюшоном, по которому вольно рассыпались темные кудри.

Контрастом к цвету волос – очень белая кожа и светлые, почти прозрачные глаза. Когда Любовь Николаевна смотрела на небо, глаза становились романтически синими. Если же она переводила взгляд на разноцветный по осеннему времени парк, наблюдателю в ее глазах неизменно мерещились отсветы пламени.

– Хотелось бы только уточнить: какое именно безобразие ты имеешь в виду в данном конкретном случае?

Александр покраснел. На высоких скулах заходили желваки. Равнодушие жены к соблюдению всех и всяческих приличий казалось ему вполне объяснимым ее предыдущей судьбой, но, тем не менее, никак не оправданным.

– Весь этот... пошлый балаган, который устроили твои воспитанники. Ты знаешь, что они таскают с собой Капитолину и даже Владимира?!

– А, поняла! Ты имеешь в виду театр Кашпарека? А ты сам-то видел их представление? По-моему, достаточно забавно...

– Забавно?! – вскричал Александр, быстро сбега по ступеням. – Я глаз не смею поднимать, когда наши соседи пересказывают мне своими словами или даже впрямую напевают куплеты, которые исполняет эта его чертова кукла! А завершающий аккорд этого, с позволения сказать, представления тебе известен?

– Я видела только то, что Кашпарек показывал у нас в белом зале. Ты тогда, помнится, отговорился делами в конторе. Представление называлось «Кашпарек идет на войну». Его марионетка проходила мобилизацию, обучалась строевому шагу, боялась унтер-офицеров, пела патриотические частушки, на мой взгляд, достаточно остроумные. Потом все то же самое повторялось со стороны врага, а потом она, уже встав под ружье, встречалась сама с собой в большом зеркале. Конечно, часть куплетов довольно рискованные, но ты же знаешь, что наш Кашпарек фактически с рождения жил среди бродячих комедиантов, и это наложило отпечаток...

Лицо мужчины некрасиво перекосилось.

– Люба, это не *наш*, это – *твой* Кашпарек! Он вырос среди лицедеев-психопатов, его дядя убил его отца, его мать утопилась и все такое прочее. Разумеется, он не мог сформиро-

ваться нормальным человеком. Кроме того, есть еще Оля – незаконнорожденная дочь прислуги «в людях», и Анна и Борис, которые родились в помойке и начали свою осмысленную жизнь, собирая милостыню на паперти. Хочу заметить тебе: я устал учитывать в *своей* жизни все (объективные, не спорю!) обстоятельства собранных тобою в усадьбе ублюдков!

Чтобы не глядеть на мужа, Любовь Николаевна присела на корточки и задумчиво гладила и чесала морду одного из псов. Пес довольно жмурил глаза и подергивал задней лапой.

– В своем перечислении ты позабыл о главном, Александр, – негромко сказала она. – Или, скорее, не позабыл, а просто не счел нужным сказать. Главный ублюдок во всей этой компании – я сама, не только Любовь Николаевна Кантакузина, но и Люша Розанова, дочь хоровой цыганки. И обстоятельства моего, как ты выразился, формирования, не оставляют тебе ни грамма надежды на спокойную жизнь... Увы... А дети тут не причем, тут просто – подобное тянется к подобному.

– Хорошо, что ты сама это понимаешь, – резко сказал Александр. – Это дает мне некоторую надежду закончить наш разговор хоть сколько-нибудь конструктивно. Итак: я требую, чтобы ты немедленно прекратила странствования по округе этого позорного балагана. Также мне кажется решительно необходимым оградить *мою* дочь Капитолину от влияния всех этих социально-искалеченных персонажей. Они близки ей по возрасту, поэтому она прислушивается к ним больше, чем к мнению учителей и прочих взрослых людей. Это совершенно недопустимо...

Любовь Николаевна выпрямилась во весь свой небольшой рост, как будто готовясь дать мужчине достойный отпор, но вдруг словно подавилась чем-то, схватила рукой за загривок ближайшего пса и прижала ко рту платок.

– Что с тобой? – встревоженно спросил Александр. – Люба? Тебе нехорошо? Пойдем в дом...

– Нет, нет, ничего, – Любовь Николаевна помахала узкой кистью, отрицая все предложения помощи. – Я пойду... туда... ничего... потом...

Быстро и легко шагая, она пересекла двор и исчезла между двумя линиями аккуратно подстриженных кустов, за которыми начинался фруктовый сад и огороды. Собаки, даже не взглянув на Александра, побежали за ней.

Живая изгородь была недостаточно высока, чтобы скрыть ее полностью. По всей видимости, Любовь Николаевна снова присела или встала на колени. Даже не особенно прислушиваясь, Александр различил доносящиеся из-за кустов звуки: не то сдавленный лай, не то рычание.

– Никак, Любовь Николаевну опять тошнит? – сочувственно спросила вышедшая из дома горничная Феклуша, которая уже некоторое время наблюдала за разговором хозяев поместья. – Молочка бы надо с мятой...

– Господи, ну неужели нельзя было в дом?!.. – Александр потер руками виски. – Если плохо себя чувствует, лечь в постель... Феклуша, скажи дворнику, чтобы потом прибрался там, что ли... Там же дети в прятки играют...

– Да ничего не останется, не волнуйтесь, Александр Васильевич, – сказала Феклуша. – Собаки ейные все подожрут. Любовь Николаевна ж только обедала, а оне привычные... И ведь знаете что занятно: как будто у них, у псов какая очередь имеется...

– Фекла, замолчи! – воскликнул Александр. – Меня самого сейчас стошнит!

Молодой помещик развернулся на каблуках и ушел в дом. Фекла осталась наблюдать. Она служила в поместье много лет и хорошо знала, что барыня не любит, когда без спросу вмешиваются в ее дела. Знала еще с тех времен, когда никакой барыни Любовь Николаевны Кантакузиной в Синих Ключах не было и в помине, а была только «бешеная Люба», безумная дочь старого помещика Николая Осоргина. С тех пор все изменилось... Все ли?

Феклуша не знала точного ответа на этот вопрос.

Любовь Николаевна вышла из-за кустов вместе с большой сине-зеленой птицей. Павлин Пава волочил длинный хвост по опавшим листьям и недовольно покрякивал ржавым противным голосом. Собак не было видно, зато из сада пришла невысокая белая лошадь и сильно ткнула женщину в плечо, требуя внимания.

Любовь Николаевна что-то скормила сначала лошади, а потом и павлину, и в сопровождении обеих удалилась по аллее в парк. Собаки выскочили из-за кустов, легко взяли след и потрусили следом.

– Прав Алексан Васильич-то: живем все не то в зверинце, не то – в желтом доме, – фальшиво вздохнула Феклуша и отправилась в кухню, где царствовала кухарка Лукерья, – рассказывать новости.

Взаимоотношения барина и барыни между собой были в Синих Ключах любимой темой для сплетен. И вправду ведь интересно: сколько они еще вместе протянут, прежде чем снова разбегутся... В силу естественных и исторических причин среди слуг и служащих имения существовали «партия барина» и «партия барыни». Одни хотели, чтобы из дому сбежала Любовь Николаевна, а другим более желательным виделось исчезновение Александра Васильевича. Поскольку и то, и другое уже случалось, то интрига сохранялась и живо обсуждалась обеими партиями. Только распропагандированный эсеровскими агитаторами плотник считал, что сгинуть должны все баре без исключения, но попал под мобилизацию и сгинул сам – после разгрома русской армии на Мазурских болотах от него не было ни слуху ни духу. Да никто о нем особо и не жалел – злословный был мужик, хотя мастер изрядный.

Уже к вечеру Любовь Николаевна провела подробное расследование деятельности Кашпарекова театра, который до сих пор действительно как-то ускользал от ее внимания. Ей казалось, что театральное дело в усадьбе устроилось нормальным и даже правильным образом. Все дети заняты в свободное от занятий с учителями время, младшие под руководством старших что-то мастерят, сочиняют, разучивают, репетируют... Чего же лучше?

Однако после расспросов очевидцев и уточнения подробностей выводы получались не слишком утешительными, а общая картина выходила и вовсе довольно скандальной. Если бы речь шла именно о бродячих циркачах, то все было бы и ничего. Но дети из Синих Ключей...

* * *

Заморозки, красные листья с каймой инея по утрам, седая земля. Тонкий, легкий, мелодичный звон, словно придорожные кусты напевают во сне.

Маленькая черная лошадка, запряженная в цыганскую кибитку, неторопливо трусит по подмерзшей дороге. Старую кибитку со сломанной осью Кашпарек купил на первые театральные заработки у проходившего мимо табора. Каретный мастер поменял ось, конюх Фрол дал мальчику большой кусок старого, но еще крепкого брезента. Оля обшила кибитку разноцветными тряпочками, ленточками и развесила колокольцы. Внутри разместили матрац и небольшой сундучок для реквизита. Следующим пунктом Оля с Кашпареком выкупили у жадного трактирщика шарманку и прочий реквизит умершего деда-шарманщика, вместе с которым они выступали до своего появления в Синих Ключах.

Остролицый темноглазый Кашпарек в шапке с пером и тремя бубенчиками идет рядом с лошадкой. Его движения вкрадчиво-точные, и весь он похож на юного лесного разбойника из книжки про Робин Гуда. Ботя и Владимир лежат внутри кибитки на матраце. Ботя дремлет, а трехлетний Владимир сосредоточенно жует воротник своей тужурки. Белокурая Оля сидит на сундучке и держит на коленях клетку с тремя голубями. Дочь Люши и Александра Капитолина в новенькой бирюзовой амазонке едет вслед за кибиткой на своей пятнистой

кобылке-пони. Позади всех, высунув розовые языки, бегут запряженные по двое четыре собаки, и тянут за собой легкую, подпрыгивающую на выбоинах дороги колясочку, в которой полусидит полустоит Атя – двойняшка Боти.

Не раннее утро воскресенья. Театр Кашпарека в полном составе едет в деревню Торбеевку. Заслышав вдоль улицы знакомый звон бубенчиков и колокольцев, мальчишки бегут к вытоптанной поляне у околицы, пронзительно крича: «Кашпарек из Синих Ключей приехал! Представлять будет!»

Дети перепрыгивают через изгороди, хозяйки откладывают недошинкованные кочаны капусты, хозяева вытирают ветошью руки и неторопливо идут к калиткам. Старые дедки и бабки сползают с лавок и ковыляют, опираясь на клюки...

Есть в Торбеевке и площадь у почты, но отец Даниил, священник рядом стоящей церкви св. Николы, категорически запретил представлять вблизи храма «непотребные бесовские игрища». Кашпарек подчинился запрету. На просторной поляне у околицы ему показалось даже удобней.

Представление «Кашпарек идет на войну» полностью идеологически расходилось с патриотическими настроениями, которые якобы господствовали в обществе в связи с началом войны. Марионетка Кашпарека (по имени которой называл себя и он сам – настоящего имени мальчика никто в усадьбе не знал) равным образом надсмехалась и над престарелым австрийским императором, и над «братским славянским народом – сербами» (вместе с балаганчиком своих родителей Кашпарек когда-то побывал в Сербии и знал фактуру), и даже над командующим русскими войсками – великим князем Николаем Николаевичем. Самым досадным было то, что чертова марионетка оказалась не только болтлива (полностью отнимая инициативу у своего хозяина – сам Кашпарек в усадьбе иногда по целым дням не произносил ни слова), но и философически настроена. В конце выступления она неизменно проводила параллель: как японская война привела к бунтам и беспорядкам 1905–1906 годов, так и нынешняя война непременно приведет к революции...

Крестьяне, в отличие от горожан, никакого военного патриотического подъема не испытывали, мобилизацию запасных и реквизицию лошадей встретили, стиснув зубы, и потому на подначки лихой марионетки откликались со злобной охотой, а мальчишки (и не только!) вовсю распевали по деревням похабные куплеты Кашпарекова сочинения.

Солнце светит, дождик льет,
Петух курочку е...т,
За Россию, за Россию,
Дружно в бой солдат идет.

Мы почти бегом бежали
И Галицию сжевали,
А в Восточной Пруссии
Нам дали по мордусиям!

К сожалению, выступлением непатриотической марионетки сомнительные моменты деятельности юных лицедеев из Синих Ключей отнюдь не исчерпывались. Кроме «военного» спектакля, в программе имелись и другие номера. Большая часть из них не вызывала никаких нареканий. Например, выступления дрессированных животных.

Ботя, который в балагане на Калужской ярмарке видел «козла-математика», немного покумекал и обучил своего пони Черныша считать. На валяный коврик высыпались деревянные чурочки. Из толпы Чернышу задавали простые арифметические задачи, к примеру – сложить два и три. Лошадка думала, а потом встряхивала длинной, зачесанной на одну сторону

гривой и копытцем выкатывала с коврика на землю ровно столько чурочек, сколько должно получиться в ответе. Деревянную трещотку, которой Чернышу неслышно для зрителей подавалась команда «стоп», Ботя прятал в кармане штанов. За каждую решенную задачку Черныш получал кусок сахара.

Капитолина выступала с дрессированными голубями. Они садились ей на голову и на руки, бегали по маленькой лесенке и качались на маленьких качелях. Владимир сидел у ног Капочки и либо смотрел на голубей, либо играл с репьями, слепляя из них вставленные друг в друга кольца и маленькие корзиночки.

Атя представляла дрессированную собаку Жулика. Жулик, украшенный пышными бантами на лбу и на хвосте, прыгал через палку и в кольцо, ходил на задних и на передних лапах, делал сальто и отбивал носом мяч, который бросала ему девочка.

Потом Оля и Кашпарек под музыку показывали парные акробатические упражнения. Ботя крутил ручку шарманки. Особенно всем нравился момент, когда Кашпарек держал на отставленном колене длинную палку, на вершине которой на одной руке стояла Оля в белом трико, казавшаяся на фоне неба полупрозрачной. Бабы от страха комкали подол передника и отворачивались, дети повизгивали, а мужики шумно дули в усы. Когда девочка невредимой оказывалась на земле, крестьяне дружно выдыхали, свистели и топали ногами.

В завершение представления Атя, напевая жалобную, еще хитровских времен припевку про бедных сиротинушек, обходила зрителей с большим потертым цилиндром. В цилиндр кидали монетки, но с явной неохотой. В глубине толпы нарастал недовольный гул, в котором вскоре отчетливо угадывалось непонятное слово: «Тяку! Тяку!»

Кашпарек разыгрывал небольшую пантомиму: корчил недовольные гримасы, укоризненно качал головой, разводил руками. Потом, словно поддаваясь напору толпы, командовал: «Владимир, але-оп!»

Услышав команду, малыш, который до этого имел вид совершенно отсутствующий, вскакивал и вытягивался во весь рост.

– Покажи чертяку! – строго велел Кашпарек.

Под жадным взглядом собравшихся мальчик спускал штаны, показывал пальчиками рожки, высовывал язык и выпучивал круглые глаза. Рожица получалась довольно пугающая. Но этим номер не ограничивался. Владимир медленно поворачивался вокруг своей оси и все собравшиеся отчетливо видели удивительное: сзади у мальчика имелся маленький, но отчетливо шевелящийся хвостик, похожий на большого розового червяка.

– Чертяка! Чертяка! – неся возбужденно-испуганный шепот.

Многие крестились.

Одновременно у переносной ширмы снова появлялся Кашпарек-марионетка. На этот раз у него имелось толстое выкаченное вперед брюхо (клок сена, запихнутый под платье) и большой крест на нем.

– Ты покайся, Бог простит,
Своего не упусти,
Богу деньги не нужны,
Но попы-то есть должны?

– голосом отца Даниила спрашивала марионетка. И напоминала:

– Грех у каждого из вас,
Хочешь ты, чтоб Боже спас?
Мать ушла в слепую ночь.
Не забудь сынку помочь!

Марионетка скрылась на мгновение, и появилась уже без креста и брюха, спиной, на которой круглился горб. Начала неловко, медленно поворачиваться лицом...

– А-ах! – теперь уже крестятся все зрители.

Все понимают, о чем напоминает людям Кашпарек. Три года назад в деревне от брошенного чьей-то рукой камня погибла дочь лесника – горбунья Таня, мать Владимира. Грех, грех...

В цилиндр со звоном наперебой летят копейки, пятаки, даже гривенники и пятиалтынные.

Атя увела и посадила в кибитку Владимира, снова расслабленного и едва ли не пустившего ниточку слюней.

Представление окончено. Циркачи собирают немудреный инвентарь. Зрители расходятся удовлетворенные совершенно – и посмеялись, и попереживали, и испугались...

* * *

– Александр, ты был прав, театральная деятельность Кашпарека в существующем виде неприемлема совершенно. Я завтра поговорю с ним. Есть некая вероятность, что после этого разговора он просто уйдет из имения.

Парадные комнаты в усадьбе – широкие окна, глядящие на привядший осенний цветник, гнутая английская мебель с обивкой из полосатого сатина, резные кленовые листья на стенных часах и раме большого зеркала, изразцы голландских печей, – все совершенно так же, как много лет назад, когда Александр Кантакузин приехал в этот дом впервые. Быть этого, конечно, не могло, старый дом – это не птица Феникс, которая возрождается из пепла со всеми до единого золотыми перьями. Именно эти комнаты пострадали от пожара сильнее всего... Впрочем, разве это единственная странность удивительного и проклятого дома, который Люба с детства называет Синей Птицей!

– Баба с возу, кобыле легче...

– Мне будет жаль. Он сам никого не любит и ни к кому не привязан, но я к нему привыкла. Он очень талантлив. Если бы можно было отдать его учиться...

– В чем же проблема? Есть театральные школы. Наверное, существует даже школа кукловодов...

– В школе кукловодов ему учиться нечему. А что касается театра... Я ему предлагала, он отказался. Кашпарек – человек дороги, он не сможет на одном месте, в четырех стенах...

– Ты знаешь, Люба, не буду тебе врать: судьба этого неприятного отрока мне совершенно безразлична. Уйдет – скатертью дорога. Останется, и черт с ним. Для меня главное – оградить от всего этого мою дочь.

– Капитолина больше не будет выступать в деревне.

– Очень хорошо! Благодарю, – Александр слегка поклонился жене. – Но что твое здоровье? Тебе было дурно утром. И третьего дня. Не надо ли пригласить доктора?

– Нет, не надо. Со мной все в порядке. Просто у меня будет ребенок.

Александр помолчал, разглядывая узор на обоях.

– Вот как. Могу ли я осведомиться, кто его отец?

– Не можешь. Это не имеет значения. Для тебя.

– А для тебя?

Не отвечая, Любовь Николаевна развернулась на каблуках и ушла по анфиладе. Крошечный рост. Высоко поднятая голова. Темные кудри, высоко стянутые атласной лентой, подскакивают на лопатках.

Александр смотрел ей вслед. Его жена. Мать его дочери. Ему хотелось убить ее и защитить от всего на свете. Одновременно. Он знал, что так не бывает. Но и таких, как она, больше не было. Нигде.

* * *

Глава 2, Которую читатель, знакомый с предыдущими двумя книгами о приключениях Любы Осоргиной (она же Люша Розанова) вполне может пропустить, поскольку в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее лиц.

Николай Павлович Осоргин, помещик из имения Синие Ключи, что под Калугой, был в своей жизни счастлив, наверно, один лишь раз – когда женился на красавице Ляле Розановой. Была Ляля цыганкой, певицей с чудным голосом, и женитьба проходила по цыганскому обряду. А вот по православному канону Николай Павлович, хоть и любил свою Лялю без памяти, жениться почему-то так и не сподобился. Бог весть, почему. Замкнутая натура его даже для близких всегда оставалась загадкой. Не смогла разгадать ее и Ляля. Да и пыталась ли? Она родила Осоргину двоих детей. Мальчик умер, девочка выжила. Но цыганка не успела порадоваться материнству. И помещицей так и не стала. Ушла вслед за сыном. От тоски по вольной цыганской воле зачахла – так говорили в округе, при этом никто, кроме овдовевшего Осоргина, по ней не горевал. Настоящей барыней и мужики, и соседи по-прежнему считали первую покойную супругу Николая Павловича – Наталию Александровну, урожденную Муранову. С ее родней Осоргин враждовал – из-за того, что спустил все женино приданое на подарки своей цыганке. Ляля, как и все цыганское племя, любила драгоценности. И, продав родовое имение Мурановых – Торбеево, Николай Павлович купил цыганке Ляле знаменитый желтый алмаз «Алексеев» весом в 31 карат.

Увы, все эти драгоценности сохранились только на портрете цыганки, который висел в ее бывшей спальне. Осенью 1902 года распропагандированные эсерами крестьяне, которые уже давно были недовольны барином из Синих Ключей, сожгли и разграбили имение. Осоргин был убит. Считалось, что в огне пожара погибла его двенадцатилетняя дочь Люба вместе со старой нянькой Пелагеей. Пропали и драгоценности Ляли Розановой.

Наследником имения остался дальний родственник Наталии Александровны – Александр Кантакузин, студент Московского университета. За несколько лет до того Осоргин, откликнувшись на просьбу тяжело больной и не имевшей никакого дохода матери Александра, принял над ним опеку. Сделал он это не без дальнего умысла. Дело в том, что Люба, его дочь, считалась душевнобольной. Да что там, она ею и была. Душевным недугом страдал и побочный сын Николая Павловича – от той самой няньки Пелагеи, которой предстояло сгореть, – Филипп... Но Филипп-то что, он жил себе на лесной заимке, отец ему хоть и помогал, но официально не признавал. А Люба росла барышней, наследницей. Однако справиться с нею никто не был в состоянии. Она куда успешнее, чем с людьми, общалась с лошадьми и собаками, со старым домом, который называла Синеи Птицей, с родником, давшим название усадьбе... Этот родник, как гласила местная легенда, возник из слез гордой девки Синеглазки, погубившей троих женихов и превратившейся в призрак через свою гордыню. Может, и впрямь, как шептались крестьяне, Синеглазка наложила заклятье на род Осоргиных? Филипп, тот считал ее своей невестой и ждал, когда наконец она к нему явится. Даже как-то принял за Синеглазку одну из осоргинских родственниц – Юлию фон Райхерт, в которую был влюблен Александр Кантакузин. А Люба Осоргина... Некоторые думали, что она – та самая Синеглазка и есть.

Так вот, Николай Павлович, послушав совета своего старого друга профессора Юрия Даниловича Рождественского, решил подыскать Любе мужа, чтобы она тихо прожила за его спиной отпущенный ей земной срок, не потеряв ни имени, ни житейского комфорта. Александр показался ему очень удачной кандидатурой. Когда после гибели Осоргина обнародовали его завещание – оно оказалось очень оригинальным. Все имущество, кроме доли, предназначенной Филиппу, предоставлялось Любе и Александру в пожизненное пользование без права отчуждения. А в собственность – их детям, если таковые родятся. А если нет – имущество в конечном счете поступало властям Калуги для организации театра имени Ляли Розановой. . . Именно этот последний диковинный вариант и вступал в силу, поскольку Люба погибла. Зато Александр получил возможность побыть помещиком. . . и – попробовать так устроить свое личное счастье с Юлией фон Райхерт.

И устроил бы, наверно. Если бы в декабре 1905 года, в самый разгар первой русской революции, молодой доктор Аркадий Арабажин, он же – большевик с партийной кличкой Январев, не подобрал на баррикадах красной Пресни раненного парнишку, огольца с Хитровки. Сам он пришел на баррикады с простой и ясной целью – умирать. Другого выхода для себя он не видел – после того, как, поддавшись на провокацию, вывел товарищей прямо к засаде, под пули. Но вот пришлось, вместо расставания со своей жизнью, спасти чужую. Он привел мальчишку к себе на квартиру, чтобы отмыть и вылечить. . . и там обнаружил, что никакой это не мальчик, а пятнадцатилетняя девица с черными цыганскими кудрями и глазами светлыми и прозрачными, как весенний лед. Люшка, маруха хитровского вора в законе Гришки Черного. Люба Осоргина.

Люба, надо сказать, тут же от Арабажина сбежала. О том, кто она такая, ему рассказал забытый ею дневник. Девочка начала вести его несколько лет назад – после того, как потрясение, пережитое ею на пожаре, разбило стеклянную стену аутизма, которая с рождения отделяла ее от людей. Не от всех людей, впрочем. Ее друзьями были крестьянские дети – Степка и глухонемая Груня, которую Люба научила говорить. Степка и спас ее в ту страшную ночь, пробравшись к уже заполненной дымом детской по крыше. Ее спас, а нянюшка Пелагея погибла. Выйти из детской они бы не смогли – кто-то запер дверь снаружи.

Впрочем, Люша знала – кто. Александр. Она видела его в ту ночь. Сказала об этом только Груне. Из-за него, Александра, и убежала из Синих Ключей куда глаза глядят. Ясно ведь было, что он теперь не оставит ее в покое. Слишком он любил поместье и свою красавицу Юлию. А о завещании погибшего барина тогда еще никто ничего не знал.

Три года бывшая барышня из Синих Ключей провела на Хитровском рынке. Превратилась в заправскую беспризорницу, промышляла мелким воровством, мошенничеством, а то и проституцией. Нашла новую подружку, Марысю; юная полячка мечтала о собственном трактире, а пока подрабатывала в чужом – судомойкой. На Хитровке Люша даже детьми обзавелась! Проходящая нищая солдатка умерла, рожая близнецов Атю и Ботю, а они уцелели благодаря заботам подруг и деньгам Гришки Черного, которого Люша уговорила помочь. Да, она умела уговорить, она много чего умела. . . Удивительно танцевать, например. Кровь матери жила в ней – не даром Глэдис МакДауэлл, бывшая бродвейская актриса, а ныне певичка из ресторана «Стрельна», в первый миг приняла ее за Лялю Розанову.

В память о старой подруге Глэдис помогла Люше поступить в цыганский хор. Тут-то ее второй раз и отыскал Арабажин.

В поисках Любы Осоргиной Аркадий и его приятель, эсер Лука Камарич побывали в разных любопытных местах. Например, на собрании декадентского кружка пифагорейцев, где познакомились с Александром Кантакузиным, его кузеном Максимилианом Лиховцевым, а заодно и со знаменитым петербургским писателем Арсением Троицким. Наконец, доктор Рождественский свел своего ученика Арабажина с дальним родственником покойного Любиного отца – московским архитектором Львом Петровичем Осоргиным, главой

большой и колоритной русско-итальянской семьи. Узнав о Любе, Лев Петрович моментально проникся ее необыкновенной судьбой... и вот, когда беглянка наконец отыскалась, она попала в шумный круг этого семейства. Здесь ей предстояло отогреться, вернуться к цивилизованной жизни и приобрести манеры, которые позволили бы ей занять достойное место в обществе.

Любе все удалось с блеском. Спустя полтора года никто не признал бы в утонченной красавице маленькую босячку с Хитровки. Теперь она могла приступить к достижению заветной цели – возвращению Синих Ключей. Там хозяйничал Кантакузин. Он восстановил дом, наладил хозяйство, готовился к женитьбе на Юлии... словом, жил в свое удовольствие и знать не знал, что расплата за совершенное в ночь пожара уже близка.

Синие Ключи принадлежали Любе, она – им. Так было всегда, и так будет впредь. Если, согласно завещанию отца, для этого ей надо выйти замуж за Кантакузина – она выйдет. Его планы ей не помешают.

И Максимилиан Лиховцев, Арайя, Страж Порога – поэт и философ, понимавший ее, казалось, так, как никто никогда не понимал...

Он тоже – не помешает.

Свадьба состоялась. Спустя положенный срок у Любы и Александра родилась дочь Капитолина. Синие Ключи ожили, там утвердилось все Любино окружение – хитровские близнецы Атя и Ботя, Степан, Груня, старая лошадь Голубка, собаки, птицы... даже горький пьяница дед Корней, учивший близнецов понимать, что к чему в этом мире, и просить милостыню на паперти. Приезжали из Москвы Марыся и итальянские родственники. Особенно часто – Камилла Гвиечелли, музыкантша и художница, тяжело больная чахоткой.

Только Александру Кантакузину не нашлось в Синих Ключах места. Он понял это довольно скоро. И уехал из имения, вообще из России – в Константинополь, заниматься историческими изысканиями.

Итак, Люба Осоргина добилась всего, чего хотела. Когда-то маленькой девочкой она любила разыгрывать сценки в картонных театриках, которые потом сгорели вместе с башенкой усадьбы – головой Синей Птицы, как она ее называла. Башенку Люба восстановила, а вот театрики погибли безвозвратно. Впрочем, они уже и не были ей нужны – потому что от живых людей, ее окружавших, тянулись к ней, точно как от марионеток, невидимые нити. Она всегда знала, когда за какую ниточку следует дернуть. Ну – почти всегда.

Когда-то, еще обитая на Хитровке, она предложила Арабажину расплатиться за спасение на баррикадах собою – простым и бесхитростным образом, и он отказался. А вот его лучший друг, талантливый психиатр Адам Кауфман такую плату получил. Произошло это в Петербурге. Люба привезла к Адаму своего брата Филиппа, которого он взялся лечить. Но плата была не только за Филиппа. Прежде всего – за то, что Адам оказался ей опорой в тот момент, когда она в Петербурге снова встретила Максимилиана Лиховцева. Встретила, шагнула ему навстречу и... получила отказ. Максимилиан и Александр Кантакузин, близко дружившие с детства, к тому времени разошлись. Слишком разными оказались людьми: Макс, философ-визионер, жадно глотающий жизнь, и закрытый в самом себе, как в раковине, Александр. Когда в 1905 году Макс оборонял от черносотенцев Университет, а после угодил в Бутырки, его кузен усердно занимался в библиотеке, не слушая выстрелов и революционных призывов. Когда Максимилиан, узнав от Любы о том, кто запер той осенней ночью дверь детской, приехал в Константинополь – откровенного разговора так и не вышло. Александр его даже не выслушал. Словом, никаких обязательств друг перед другом у них не было. Но...

Так или иначе, визит Любы в Петербург принес пользу только Филиппу. Его душевное состояние улучшилось, а к доктору Кауфману он проникся таким доверием, что рассказал

и о своей невесте-Синеглазке, а главное – о том, как во время крестьянского бунта сумел уберечь для нее фамильное сокровище. Драгоценности, оказывается, хранились у Пелагеи (никому иному Николай Павлович не мог их поручить). Второпях, пытаясь спасти их от бунтовщиков, Пелагея вручила заветный сундучок сыну, а тот зарыл его в амбаре. Такого, конечно, никто предположить не мог. Потому драгоценностей до сих пор и не нашли, хотя искал их и Александр, и Любин спаситель Степка, которого наставляла в этих поисках его сестра Светлана...

Узнав историю Филиппа, Адам оказался перед нелегким нравственным выбором. Деньги были ему просто необходимы – для того, чтобы открыть собственную психиатрическую клинику, где можно было бы применять новые методы лечения и двигать вперед психиатрическую науку. Но у драгоценностей была вроде бы позабывшая о них законная хозяйка – Любовь Николаевна Кантакузина. Однако нужны ли они ей? Пока Адам так ничего и не решил...

Филипп рассказал доктору не только о сундучке с драгоценностями. Оказывается, у него, кроме волшебной невесты, была и вполне реальная живая жена! Лесник Мартын, который вместе со своей горбатой дочерью Таней много лет ухаживал за Филиппом, придумал способ, как дотянуться до наследства, которое Осоргин оставил своему внебрачному сыну. Филипп, имея детский рассудок, физически был вполне зрелым мужчиной – и вот Таня уже ждет от него ребенка, а хорошо ли дитяти расти без отца? Совестьливый Филипп, не желая, чтобы ребенок повторил его судьбу, конечно, согласился венчаться...

А вот Степан и Груня обошлись без венчания. Груня давно его любила. И хотела от него ребенка. А он смертельно и безнадежно влюбился в итальянскую кузину Любы Осоргиной, умирающую от чахотки Камиллу Гвиечелли. Да так влюбился, что однажды прочитал письмо, адресованное вовсе не ему. Камиша делилась с Любой горьким осознанием того, что ее жизнь уходит бесполезно – ведь она так и не испытала настоящей земной любви, ради которой только и стоит жить. Узнав об этом, Степан решился на сумасшедший поступок. Взял да и похитил Камишу из московского дома Осоргиных-Гвиечелли. Всего на одну ночь... Это было приключение, единственное приключение в жизни девушки – и в ту ночь оно не закончилось.

В похищении Степану содействовала кузина Камиллы – пятнадцатилетняя Луиза. Неисправимая авантюристка, она изнывала без острых ощущений, без жертв и страстей. Главной страстью, конечно, была революция. Она приближалась – все это чувствовали, а Луиза просто сходила с ума. Выведав, что муж ее старшей сестры, англичанин-фабрикант Майкл Таккер, снабжает деньгами подпольную эсеровскую ячейку, она встретила с одним из революционеров (им оказался уже знакомый нам Лука Камарич) и предложила свои услуги благородному делу террора. Лука, надо сказать, этому совсем не обрадовался. Луиза – ребенок... а у него, ко всему прочему, свои проблемы. Нежданно-негаданно он встретил купеческую жену (а теперь вдову) Раису Овсову, которая в 1905 году спасла его от жандармов. И теперь не мог понять, как же ему быть дальше с этой женщиной, разительно не похожей на тех многочисленных дам, с которыми ему до этих пор доводилось иметь дело. Но партийная дисциплина – вещь серьезная. Луизу, назвавшуюся Екатериной, приняли в ячейку, и Камарич повез ее в Петербург, где готовилось покушение на главу жандармского корпуса Карлова.

Своя заветная цель была и у Юлии фон Райхерт, кузины и бывшей возлюбленной Александра Кантакузина. Цель простая и четкая, как математическая формула: занять высокое место в свете, добиться богатства и независимости. Всего этого ей, признанной красавице, не хватало катастрофически. Отец, модный адвокат, спускал гонорары за игорным столом. Мать из последних сил имитировала жите на широкую ногу... Удачная партия могла помочь делу – и она нашлась. Сережа, единственный сын князя Бартенева – великосветский

шалопай, не пригодный ни к какому серьезному делу, в том числе и к продолжению рода – из-за своих особых наклонностей. Зато добросердечный и легкий в общении. Устроить его брак с Юлией предложила обеспокоенной судьбой сына графине Бартеневой ее давняя подруга (еще по Смольному институту) Мария Габриэловна Осоргина, жена Льва Петровича. Та оценила добрый совет, а уж мать Юлии и ее саму долго уговаривать не пришлось. Предстоящая сделка возмутила только господина адвоката... но ему пришлось смириться.

Узнав о предстоящем замужестве Юлии фон Райхерт, Александр Кантакузин вернулся в Россию. Приехал он, конечно, не к любимой. В имение, к законной жене. Впрочем, жены там не застал.

Беда в том, что хозяйка Синих Ключей не могла быть только Любовью Николаевной Осоргиной. Люша Розанова в ней ни в коем случае умирать не собиралась. Хотя бы изредка, сбежав от всех, сменить обличье... Сначала она сохраняла за собой место в цыганском хоре. Но довольно скоро осторожный хоровод Яков Арбузов заявил ей, что держать под своим началом замужнюю даму из общества больше не станет – нехорошо это. Старая подруга матери Глэдис Макдауэлл и тут пришла на помощь: познакомила Любу с экзотической восточной танцовщицей, выступающей под псевдонимом Этери. И та согласилась взять ее в ученицы. В миру Этери звали Екатериной Алексеевной. Любе сразу почудилось в ней что-то неуловимо знакомое...

И тут нам опять следует обернуться к прошлому. К совсем далекому прошлому, ко временам отрочества Николая Павловича Осоргина. Когда его нареченная невеста Наталия Александровна Муранова маленькой девочкой жила в родовом поместье Торбеево, у ее отца был крепостной художник Илья Сорокин. Барин ценил его талант, даже отдал в московское Училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, когда вышел императорский Манифест об отмене крепостного права – потребовал, чтобы юноша возместил средства, потраченные на его обучение. Илью это не согнуло. Он тихо и упорно шел к своей цели – стать настоящим, большим художником. И до поры, до времени не отдавал себе отчета в том, что цель его жизни вообще-то – совершенно иная. Она – в любви. Наташа Муранова была для него всем. Он боготворил ее, даже в мечтах не надеясь на взаимность.

И вдруг оказалось, что взаимность возможна. Илья и Наташа начали встречаться. Нет, они еще не говорили о любви. Но однажды он набрался храбрости и попросил ее не соглашаться на замужество с нареченным женихом, Николаем Осоргиным. Это брак, он был уверен, ее погубит. И Наташа сказала, что никогда не сделает этого. Их короткие встречи украдкой продолжались недолго. И тех бы не было, если б не помощь мурановской горничной Марьяны. И вот однажды Наташа к назначенному часу не пришла. Вообще не пришла. Илья прождал ее под осенним дождем до утра и в итоге с жестокой пневмонией оказался в общей палате Голицынской больницы. Пролежал он там долго... Однажды его навестила Марьяна. Сказала, что хозяева выгнали ее за то, что устраивала барышнины свидания. А что же сама барышня? А она вышла замуж за Николая Осоргина и уехала в свадебное путешествие.

Выйдя из больницы, Илья, прежде не бравший в рот ни капли, в первый раз напился. И продолжал пить – месяцы, годы... Иногда наступало просветление. Тогда он возвращался к искусству; увы, того, что он успевал сделать, хватало только для нищенского существования. Однажды он встретил Марьяну – такую же нищую, опустившуюся, да еще и с ребенком. Пожалел, взял замуж. Или она его пожалела?..

А в один прекрасный день к нему пришла Наташа. Наталия Александровна Осоргина. Пришла, чтобы помочь... или просто высказать наконец все то, что и ей, и ему нужно было сказать давным-давно, тогда, когда они еще могли взять жизнь в свои руки. Не сумели, не успели, не хватило духа... А теперь – теперь у нее был муж, а у него Марьяна и маленькая Катенька.

Но что-то сделать все же удалось. После этой встречи Илья, пообещавший себе и Наталии справиться с пьянством, поехал в Торбеево управляющим. С ним отправились жена и Катя.

Вот так Марьяна вернулась в родную деревню. Прожила она там недолго... После ее смерти Катю взяла к себе Наталия Александровна. У нее не было детей, и Илья с радостью отдал ребенка, чтобы скрасить одиночество любимой. Увы, девочка Катиш так и не стала Наталии дочерью. Но относились к ней хорошо. А потом барыня умерла, ее муж встретил свою цыганку, потом... потом умерла и цыганка, и...

Люба знала о существовании Катиш – любительницы читать романы и качаться на качелях. Не знала только, куда и почему она исчезла из имения. Уже после своего возвращения в Синие Ключи она узнала, что Катиш, оказывается, вышла замуж за пожилого сибирского золотопромышленника, нового хозяина имения Торбеево. Правда, брак не сложился. И вот когда Катиш уехала от мужа, она уже пропала окончательно.

Люба и Этери сразу почувствовали что-то знакомое в рассказах о прошлом, но истина выяснилась много позже. Сначала Люба училась у Этери. Потом в Синие Ключи появились два маленьких акробата, мальчик Кашпарек и девочка Оля. Они пришли, потому что запомнили барыню, похвалившую их выступление на калужской рыночной площади. Она сказала: если будет туга, приходите... И вот старый шарманщик, с которым они выступали, умер, деваться им было некуда, они и пришли. Атя, приемная Любина дочь, сразу поняла, что ничего хорошего из этого не получится. И точно. Наступил день, когда из Синих Ключей бесследно исчезли все трое: Кашпарек, Оля и с ними хозяйка имения, Любовь Николаевна Осоргина.

Если бы Люба задержалась дома еще хоть на день, она, возможно, успела бы встретиться с Максимилианом Лиховцевым, который, как когда-то Илья Сорокин, наконец-то понял, что цель и смысл его жизни ни в чем ином, как в ней – единственной женщине. Сорвался из Петербурга, приехал в родительское имение, в разгар свирепой метели кинулся в Синие Ключи. В одиночку, на лыжах, потому что больше было не добраться никак. Впрочем, он и на лыжах не добрался. Сгинул бы в лесу, под снегом, если б из Синих Ключей не подоспела спасательная команда во главе с Атей и Ботей. Хитровские близнецы ничего не боялись, за жизнь держались цепко и во всех обстоятельствах знали, что следует делать.

Их подвиг все оценили по достоинству, а вот из порыва Максимилиана вышла одна нелепость. Впрочем, долго он в родных краях не задержался – уехал... Вернее, тоже сгинул в неизвестном направлении.

Зато в Синие Ключи приехал Аркадий Арабажин.

С Любой он поддерживал знакомство, изредка обмениваясь письмами... однажды был даже в гостях в имении. Не более того. Но, узнав, что она пропала, тут же начал собираться на поиски. С ним решил ехать Адам Кауфман (недавно женившийся, по рекомендации родственников, на девушке из хорошей еврейской семьи), но в последний момент вдруг передумал. Зато не отказалась составить Арабажину компанию его давняя, по революционным событиям знакомая Надя Коковцева. В Синих Ключах она тоже бывала – вместе с подругой детства Юлией фон Райхерт, и не прочь была снова повидать те места. У Арабажина завязалось с Надей что-то похожее на роман... В Синих Ключах их замечательно встретили, правда, узнать что-то дельное о Любе никак не получалось. Профессор Рождественский, наблюдавший барышню Осоргину еще в детстве, был уверен, что всему виной ее душевная болезнь: ремиссия кончилась, безумие взяло свое. Обитатели же Синих Ключей, на удивление, не очень тревожились.

У них хватало своих забот. Сначала в тяжких муках разродилась дочь лесника Таня. Арабажину, вместе с деревенской знахаркой Липой (бывшей московской акушеркой), пришлось принимать роды. На свет появился удивительный мальчик Владимир с маленьким

хвостиком. Потом, никому ничего не говоря и без чьей-либо помощи родила сына, которого назвала Агафоном, Груня. Да еще – приехал из-за границы хозяин Синих Ключей, Александр Васильевич Кантакузин. Теперь, когда его жена исчезла, он один имел власть распоряжаться жизнью Синих Ключей.

И начал распоряжаться... Арабажин уехал, Люба не возвращалась. Александр взял хозяйство в свои руки. Отправил Груню с Агафоном в деревню, хитровских близнецов – в закрытые пансионы. Нанял для дочери Капочки иностранных гувернанток. И как-то раз, навещая в Москве родственников, встретил Юлию.

Она была уже княгиней Бартеневой. Блистательную свадьбу немножко подпортил обиженный сердечный друг жениха, но все остальное вышло именно так, как она планировала. Возможность тотчас исполнить любой каприз, выезды в Европу, короткое знакомство с императорской семьей и... зависть к собственной кухарке, обнимающейся с пылким ухажером.

Стоит ли удивляться, что спустя недолгое время после встречи Юлии и Александр возобновили отношения.

У них были замечательные планы. Юлия гостила в Синих Ключах, чувствуя себя там уже почти хозяйкой, на очереди была поездка за границу. Князь не возражал, и он, и его мать понимали, что фамилии нужен наследник, и готовы были принять ребенка Юлии, которого она родит от кого пожелает.

И вот, когда все так прекрасно и удобно складывалось – опять, как шесть лет назад...

Впрочем, на самом деле произошло не одно, а несколько событий. Деревенская толпа, узнав, что лесникова дочь Таня окрестила в церкви хвостатого младенца, забила ее камнями. Ребенок выжил, его, прокляв убийц, успела забрать поповна Маша. Умерла, родив недоношенную девочку, Камилла Гвиечелли. Арабажину вновь пришлось принимать роды, и он слышал последнюю просьбу Камиллы: назвать девочку Любовью. И, наконец, в Москве появилась удивительная танцовщица, по которой вот уже два года сходил с ума вся Европа.

Никто о ней ничего не знал, и газеты наперебой смаковали слухи, один другого фантастичнее. Ее искусство действовало магическим образом. Один из ее танцевальных номеров рассказывал историю колдуньи Синеглазки. В других номерах вместе с ней участвовали дети – двое, мальчик и девочка. Был еще мужчина, которого она едва терпела рядом с собой и наконец прогнала.

Благодаря танцу о Синеглазке Этери – Екатерина Алексеевна – Катиш наконец узнала в своей ученице Любу Осоргину, написала ей письмо и рассказала, как погиб Любин отец.

Часть истории Катиш, впрочем, уже была рассказана ученице раньше. Она знала, что девушка сбежала из приютившего ее дома после того, как ее изнасиловал приемный отец. Не знала только, что речь идет об ее собственном, родном отце. И что крестьянский бунт был не случайным, и погиб Осоргин не от случайной руки. Любовник танцовщицы Этери, эсер, отомстил таким образом за свою возлюбленную.

Итак – все сказано, и никому не придет в голову продолжать старую вражду. Екатерина Алексеевна вернулась в Торбеево. Там по-прежнему жил ее муж, спасший когда-то ее от позора. Тогда ей хотелось авантюры и страстей, усадебная жизнь казалась ужасно скучной, а выяснилось, что для нее-то она и создана. И старый художник Илья Сорокин тоже был там. К этим двум старикам она и вернулась.

А Люба приняла приглашение выступить на празднике у Сережи Бартенева. В честь второй годовщины его свадьбы. Князь затеял нечто невероятное, пригласил кучу народа и, между прочим, обоих кузенов жены – Александра и Максимилиана. А Максимилиан накануне празднества приехал к Арабажину, прося о помощи.

Это он был тем мужчиной, что ездил по Европе за прославленной танцовщицей – глядя, как она изо дня в день все безнадежнее сходит с ума. Она не могла быть только Любой

Осоргиной, но только Люшей Розановой – еще меньше. Цыганская ипостась сжигала ее, спиртное и наркотики стали обычным делом. Максимилиан далеко не все о ней знал, он не знал, что она постоянно пишет письма. Письма единственному человеку, который не был сумасшедшим, у которого, в отличие от нее, от Макса, от всего мира – было будущее.

И вот фантастическая танцовщица выступила на княжеском празднике, а потом появилась там как Любовь Николаевна Осоргина... и увидела доктора Арабажина, человека, которому она писала письма, гостем в сумасшедшей толпе. Это было слишком.

Аркадий Арабажин остановил приступ безумия, высыпав ей на голову ведро коло- того льда из-под шампанского. И увез ее в Синие Ключи – приводить в чувство.

Хоть и с трудом, но ему это удалось, он был хорошим врачом. И любил ее. К счастью, он понял это не слишком поздно. Так, по крайней мере, ему казалось. К сожалению, пока они не могли не расставаться – у нее все еще был муж, а у него работа. Муж, впрочем, снова уехал, увы, без Юлии, которую утомили его проблемы. Зато в Синие Ключи вернулись Атя и Ботя, хвостатый младенец Владимир, Груня и Агафон.

А потом... не прошло и года после праздника у князя Бартенева – в сербской столице убили австрийского наследника, и началась война. Арабажин отправился на фронт врачом санитарного поезда. В октябре 1914 года Люба получила письмо от сестры милосердия с известием о его гибели.

Немного позже в Синие Ключи вернулся Александр. Все-таки он был хозяином имения, отвечал за этих людей и понимал, что в военное время им нужна опора. Люба, кажется, была с этим согласна. Прошрое больше не стояло между ними. Все было выяснено: дверь в детскую тогда, во время пожара, запер не Александр. Кто? Впрочем, казалось, что сейчас это уже не имело никакого значения.

Список действующих ныне и действовавших ранее героев:

Синие Ключи и окрестности:

Осоргин, Николай Павлович, помещик, убит в 1902 году

Наталия Александровна Осоргина (Муранова), первая жена Николая Павловича, умерла

Лилия (Ляля) Розанова, вторая, невенчанная жена Николая Павловича, цыганская певица, умерла

Офелия Александровна Осоргина, старая бабушка Николая Павловича, умерла

Пелагея Никитина, нянька Люши, в прошлом любовница Николая Павловича, погибла при пожаре в 1902 году

Любовь Николаевна Осоргина (Люша Розанова), дочь Николая Павловича Осоргина и Ляли Розановой

Филипп Никитин, безумец, сын Пелагеи и Николая Павловича

Мартын, лесник Осоргиных

Таня, дочь Мартына, убита торбеевскими крестьянами

Владимир, сын Тани и Филиппа

Илья Кондратьевич Сорокин, художник, в прошлом – управляющий имением Торбеево

Марьяна, его жена, умерла.

Катиш (Этери, Екатерина Алексеевна Сорокина), танцовщица, его приемная дочь

Иван Карпович, сибирский золотопрмышленник, муж Катиш и хозяин имения Торбеево

Лиховцева (Муранова) Софья Александровна, сестра Наталии Александровны, детская писательница

Лиховцев Антон Михайлович, ее муж, хозяин имения Пески
Лиховцев Максимилиан Антонович, историк, журналист
Фаина, бывшая няня Максимилиана и Софьи
Кантакузин Александр Васильевич, историк, муж Любы и кузен Максимилиана

Прислуга в Синих Ключах:

Настя, горничная
Феклуша, горничная
Фрол, конюх
Лукерья, кухарка
Акулина, огородница
Филимон, муж Акулины, садовник
Груня Федотова, подруга детства Люши
Степан Егоров, из деревни Черемошня, друг детства Люши

Светлана Озерова, сестра Степана
Иван Озеров, ее муж, механик
Агафон, сын Степана и Груни
Отец Даниил, священник в церкви св. Николы в деревне Торбеевка
Матушка Ирина, жена Даниила
Маша, их дочь (в иночестве Марфа)
Их другие дети, 11 человек, матушка опять беременна
Липа, знахарка (Олимпиада Куняева, московская акушерка)
Мария Карловна, помещица, старая спиритка
Агроном Дерягин
Викентий Павлович, ветеринар
Флегонт Клепиков, священник, бывший торбеевский дьячок

Москва

Арабажин Аркадий Андреевич, врач, большевик
Марина, сестра Арабажина
Осташкова, Елизавета Петровна, графиня, двоюродная бабушка Максимилиана
и Александра
Татьяна Ивановна Кантакузина, мать Александра
Александр Георгиевич Муранов, отец Натальи, Софьи и Михаила
Елизавета Маврикиевна, его жена.
Матвей Кудасов, художник из МУЖВЗ
Яков Михайлович Арбузов, хореод цыганского хора
Глэдис Макдауэлл, артистка оригинального жанра из ресторана «Стрельна»

Декаденты

Троицкий Арсений Валерьянович
Жанна Гусарова, его пассия
Адонис
Май (Никон Иванович), из купцов-старообрядцев
Апрель

Овсов Клим Савельевич, купец 1 гильдии
Овсова Раиса Прокопьевна, его жена

Камарич Лука Евгеньевич, геолог, эсер
Рождественский, Юрий Данилович, врач, профессор Университета
Валентин Рождественский – его сын, военный
Муранов, Михаил Александрович, историк, профессор Университета
Кауфман, Адам Михайлович, психиатр
Рахиль, бабушка Адама
Соня Кауфман (Коган), жена Адама
Егор Головлев, эсер, друг Камарича
Надежда Коковцева, социал-демократка, подруга Юлии

Осоргин Лев Петрович, архитектор
Мария Габриэловна Осоргина (Гвиечелли), его жена
Луиза, их дочь
Альберт, их старший сын
Анна Львовна Таккер, их старшая дочь
Майкл Таккер, ее муж, фабрикант
Роза, их дочь
Риччи, их сын
Камилла Гвиечелли, художница, умерла
Марсель Гвиечелли, кузен Луизы

Юлия фон Райхерт (Бартенева)
Борис Антонович фон Райхерт, адвокат, ее отец
Лидия Федоровна фон Райхерт, ее мать
Бартенев Сережа, молодой князь, муж Юлии
Бартенева Ольга Андреевна, его мать
Рудольф Леттер, авиатор, сердечный друг Сережи
Спиря, бывший камердинер Сережи
Дмитрий, предположительно великий князь

Анна Солдатова
Борис Солдатов – двойняшки, приемные дети Люши
Капитолина Кантакузина, дочь Люши и Александра
Варя Кантакузина, дочь Люши и Арабажина
Люба (Аморе) Гвиечелли – дочь Степана и Камиллы
Кашпарек – бродячий артист, сирота
Оля – сирота, акробатка

Глава 3, в которой рассказывается, как Ленские события 1912 года привели к insultу почтенного владельца усадьбы Торбеево и как певчие птицы способствовали его реабилитации

– Фापенька ти тосте шаю петлашила? – грузный мужчина с отеком лица пошевелился в большом кресле и криво, но дружелюбно улыбнулся гостю.

Любовь Николаевна моментально и искренне ответила на улыбку, однако на жену хозяина усадьбы Торбеево взглянула с растерянностью непонимания.

– Катенька, ты гостю чаю предложила? – перевела для Люши невысокая полноватая женщина, поправила на коленях мужа клетчатый плед и успокаивающе погладила его по плечевой голове. – Разумеется, предложила. Сейчас мы все приготовим, а потом позовем Илью Кондратьевича, Влас тебя отвезет в столовую, и станем все вместе чай с кулебякой пить. А ты пока, Иван, тут нас подожди, птичек вот послушай... – женщина указала на стоящую у окна большую клетку, в которой скакали по жердочкам, брызгались в миске с водой, клевали рассыпанное по полу зерно и чирикали на разные голоса чижи, зяблики, пеночки и другая лесная и полевая птичья мелочь.

– Господи, Катиш! Скажите мне: что ж это такое с Иваном Карповичем?! – воскликнула Любовь Николаевна, когда обе женщины вошли в столовую и плотно закрыли за собой двери.

– Удар был, – пожала плечами Екатерина Алексеевна. – Сейчас лучше уже. Мы с Ильей почти все понимаем, что он говорит, ну и ему спокойнее. А вначале был ужас кромешный – мы ничего не понимали, он не понимал, почему мы не понимаем... Злился на всех страшно, от этого еще самочувствие ухудшалось, и речь тоже... Замкнутый круг. Доктор, как осмотрел его, сразу сказал: у него соображение не пострадало почти, только речь и движение. Я-то сперва ему не поверила, уж больно все страшным казалось. А теперь вижу: и вправду, соображает-то Иван обо всем не так уж плохо...

– Когда же это случилось?! Вы мне ничего не писали и потом, когда в усадьбу приезжали, не говорили...

– Зачем тебе? У тебя и прежде, и нынче своих дел хватает... Да и я ж тебя сколько раз в гости звала...

– Простите, простите, Катиш, – Люша покаянно опустила голову. – Конечно, я должна была сразу приехать... Но я сначала была просто никакая, потом собирала детей, потом война, потом... убили Аркадия Андреевича, приехал Александр... Это я, не подумайте, не оправдываюсь, просто рассказываю, как было...

– Сливки принеси! А бульон не надо куда! Не надо, я сказала! Вечером дадим! – объясняясь с пожилой служанкой, Екатерина Алексеевна сильно повысила голос.

Потом, когда старушка, пришаркивая, вышла с фарфоровой супницей, хозяйка усадьбы снова обернулась к Люше.

– Все старые! – вздохнула она. – Большинство еще крепость и Наталью Александровну барышней помнят. Живу, как в инвалидном доме: мало Ивана Карповича, так и прочие – кто глухой, кто слепой, кто ногу волочит, кто спину разогнуть не может – так крючком и ходит... Думаю: взять, что ли, из деревни кого молодого – хоть для забавы просто. Тебе-то хорошо – детей полный дом...

– Да, – согласилась Люша. – Мне хорошо. А с прислугой могу поспособствовать, коли хотите – хоть завтра из Торбеевки придет Груньки моей сестра. Их там несчитано, выбирать можно. Хотите младшую – злая и до работы охочая, хотите – старшую, она плаксива и собой неказиста, зато шить и кроить умеет.

Екатерина Алексеевна задумалась, потом решила:

– Присылай старшую. Погляжу на нее, может, и вправду оставлю. А молоденькая девчонка тут с нами и вовсе озлеет... Сочувствую тебе. Жаль Аркадия Андреевича, хороший был человек, покойся с миром...

– А вы разве знали его, Катиш?! – вскинулась Люша. – Откуда?!

– Да он же, как тут бывал, всех по случаю пользовал – и из Черемошни, и из Торбеевки, и из Песков даже. Молва шла. Ну, я его тоже к себе зазвала – на Ивана Карповича взглянуть.

– И что ж он сказал? – Люшины прозрачные глаза наполнились такой неумной жаждой хоть каких-то подробностей о погибшем на фронте враче, что Екатерина Алексеевна не выдержала и отвернулась.

– Да ведь это он и посоветовал мне птиц-то завести. Сказал, Иван будет смотреть на них, слушать, следить за ними и его мозг будет успокаиваться. И тогда не надо будет ему все время лекарства давать, и это хорошо, потому что они для печени вредные. Я сначала-то удивилась: что за блажь такая – птицы! Но потом подумала: а чего мы теряем? Заказала плотнику клетку, мальчишки деревенские птиц наловили... И что ты ж думаешь – так все по его и вышло! Иван по-первости чуть не целый день на них смотрел. Хочет Влас его увезти, в постель уложить или в столовую – покормить, а он мычит и палкой его колотить пытается... И теперь даже, когда уже говорить как-никак может, все равно – каждый день с утра просит: «поедем, Катенька, наших птичек проведаем» и все волнуется: чистая ли у них вода и достаточно ли корма... И диету Аркадий Андреевич нам расписал – чем да как больного кормить, чтоб желудок хорошо действовал и не застаивался. А то уж такие страсти у нас тут были, тебе и знать ни к чему... А теперь – тьфу! Тьфу! Тьфу! – все у нас как часы...

– Вот оно как... – Люша сплела пальцы. – А мне он про Ивана Карповича ничего не сказал...

– Не хотел, видно, тебя попусту волновать. Что б ты сделала? Да ты ведь тогда и сама, как я понимаю, не слишком была здорова...

– Да, – кивнула Люша. – Он меня спас. Два раза. А сам погиб.

С минуту постояла тишина. И стало слышно, как тихо и быстро, будто коготками деловитой мышки, стрекочут часы в простенке между оконными нишами, заполненными молочным, землянично-розовым и темно-алым буйством цветущих гераней. И как в соседней комнате звонко чирикают птицы. Этот стрекот и чириканье, и запах гераней, и солнечные пейзажи Ильи Кондратьевича, висящие по стенам – все вместе создавало особый уют, немного вязкий и сонный.

– А все-таки – когда с Иваном Карповичем такое случилось-то, Катиш? И что ж – нипочему, просто на ровном месте?

– Не совсем так. Иван же из Сибири сам. И все сибирские дела всегда близко к сердцу переживает. Ты Ленский расстрел в апреле двенадцатого, конечно, помнишь?

Люша ничего не ответила, но как будто бы смутилась. Невнимание к сиюминутным общественным процессам она, с подачи покойного Аркадия Андреевича, считала своим недостатком. Но и поделаться с ним ничего не могла. Где она, и где эта Лена?

– Во всех газетах тогда писали, а Ивану еще и письмо от какого-то его знакомого из Сибири пришло. Он две недели сам не свой ходил, орал на всех, чуть ли не ехать туда собирался...

Люша пыталась сформулировать вопрос, который не слишком явно обличал бы ее невежество. Екатерина Алексеевна тоже молчала, вспоминая...

* * *

Апрель 1912 года, Калужской губернии Алексеевского уезда имение Торбеево

– Илья Кондратьевич, ты «Капитал» Маркса читал?

– Господь с вами, Иван Карпович! – пожилой художник, бывший управляющий имения Торбеево Илья Сорокин явно с трудом подавил желание перекреститься. – Не читал, конечно. На что мне?

Апрель на дворе. За окном, в ветках помолодевшей на глазах высокой ели, скачут солнечные зайчики. Запрыгивают на подоконник, в комнату, играют в резных стеклах старинного буфета. Там, в буфете – стопки зеленого стекла, с золотыми ободками. И до них добирается солнце, превращает стекло в изумруды. Благодать! Какой еще Маркс...

– А вот, между прочим, зря. Потому что как раз у Маркса черным по белому и сказано: «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, если это преступление сулит ему тысячу процентов прибыли». И вот здесь, – Иван Карпович тыкнул толстым пальцем в расстеленную на столе газету. – Именно это и происходит. А вот они, – помещик пренебрежительным жестом перевернул еще с десятков разбросанных по столу печатных изданий. – Ни черта в этом не понимают! Пишут на разные лады какую-то совершеннейшую ерунду. Подумать только: приисковые рабочие вот ни с того ни с сего возмутились. Терпели, терпели, и вдруг... И пошли мирно в сопровождении местного инженера и по его же совету вести переговоры об освобождении стачечного комитета. А солдаты вдруг стали по ним стрелять. И не поверх голов, чтоб разбежались, а сразу – на поражение. И убили не одного-двух, а полторы сотни человек! Я там жил, на этих приисках, и этих рабочих, и этих солдат, и этих инженеров видел каждый день. И потому заявляю тебе ответственно: такого просто не могло быть! Не могло быть никогда!

Иван Карпович стукнул по столу кулаком. Лицо помещика побагровело, пальцы, похожие на колбаски, сжались в кулак.

– Да помилуйте, Иван Карпович, что ж вы так беспокоитесь-то? – удивился и встревожился Илья. – Успокойтесь, голубчик. Вам доктор гневаться не велел. Это ж не на ваших приисках все случилось, ваше-то дело сторона... Прискорбное, конечно, происшествие... Дикость российская...

– Вот! Вот! – вскричал Иван Карпович, бешено вращая глазами, и едва не проткнул вытянутым пальцем впалую грудь Ильи Кондратьевича. – Именно так, как ты, все здесь и в столицах и думают! Сибирь! Дикость! Рабочие – рабы, скотина, десятники – воры и шкуродеры, полиция – дураки, вся Сибирь в медвежьей шкуре и кандалах ходит и по зарубкам на лиственницах дни считает. Оттого все! Ан не-е-ет!

– А как же на самом деле? – совершенно без интереса, только чтоб дать помещику выпустить пар, спросил художник.

Видно было, что этот разговор (так же, впрочем, как и большинство других) ему в тягость. Его бы воля, взял переносной мольберт и ушел на двор, в поля или в деревню. Молча. Чего разговоры разговаривать, если все равно ничего изменить нельзя?

– Жиды и англичашки! Не поделили между собой! 800 процентов прибыли! Строго по Марксу, он знает! Он, правда, вроде бы немец, но, если покопаться, наверняка тоже окажется – еврей! Вот здесь, в «Новом времени» прямо пишут: «Еврейские заправилы Ленского товарищества, жадные до русского золота, не особенно ценят русскую кровь...» И Штольц то же мне в письме сообщает... Он сам немец, метеоролог, старая крыса, на этой Лене жил-поживал годами... У рабочих были только экономические требования, почти в рамках закона. Организация беспорядков и тем более такая чудовищная бойня – в инте-

ресах дискредитации старых владельцев, Гинцбургов и Гольденвейзеров. Медвежий угол, кому какое дело, как там рабочие живут... А теперь погляди-ка – раструбили на весь мир, в России, в Европе во всех газетах пишут, сотни тысяч рабочих бастуют в знак солидарности... Кто все это устроил? Оттяпать под шумок контроль над «Лензото» (название компании, на приисках которой произошли беспорядки – прим. авт.) – вот что им надо! А на русских рабочих и русских солдат, и даже на русского царя им наплевать! Август Штольц всегда был моим другом! Но теперь... Я с Пуришкевичем соглашусь! Я на его дело деньги пожертвую! Я вступлю в «Союз русского народа»! Я поеду в Петербург и всем скажу...

(то, что пытается описать Иван Карпович Илье Кондратьевичу, сегодня называется рейдерским захватом. Сам термин в начале 20 века еще не применялся, но операции по захвату компаний проводились в полный рост. Например, рейдерством успешно занимался в конце XIX века Джон Рокфеллер, используя в качестве механизма принуждения льготные цены на транспортировку нефти. Была ли трагедия на Лене в 1912 году связана именно с захватом «Лензото» – вопрос дискуссионный, но есть вполне убедительные данные «за». Заинтересованный читатель может узнать кое-что об истории проникновения английского капитала на золотые прииски Сибири в конце 19 века и составить об этом собственное мнение, а также поближе познакомиться с бароном Гольденвейзером и метеорологом Штольцем. Для этого ему нужно прочесть роман Н. Домогатской «Наваждение» – прим. авт.)

Старый помещик вскочил и забежал по комнате. Полы синего шлафрока развевались за ним. Серебристая кисть волочилась по полу. Молнией выскочила из-под этажерки и, ловя кисть лапой, бесшумно бегала вслед рыжая кошка Екатерины Алексеевны.

– Иван Карпович, голубчик, да что вы... Да будет... – бесполезно и уныло повторял что-то урезонивающее Илья Кондратьевич.

Вдруг Иван Карпович остановился на полушаге, поднял глаза к потолку, словно прислушиваясь к чему-то, происходящему на чердаке, взялся за голову сначала обеими руками, потом перехватился одной рукой за этажерку, и, роняя ее и стоящие на ней безделицы, медленно сполз на пол, невнятно бормоча:

– Голова... Голова... Голова...

Кошка, испугавшись грохота, выскочила в открытую дверь. Илья Кондратьевич бросился к Ивану Карповичу, попытался поднять его, понял, что у него не хватит сил, уложил хрипящего старика на пол, стараясь не заглянуть в закатывающиеся желтоватыми белками глаза. И, торопясь, зашагал внутрь дома, крича на ходу:

– Катя! Екатерина Алексеевна! Скорее! Влас! Кто-нибудь! Ивану Карповичу плохо! Надо немедленно врача!

* * *

– И вот, с тех пор так мы и живем... – вздохнула Екатерина Алексеевна.

– Вы, должно быть, сердитесь на меня, Катиш... – задумчиво сказала Люша. – Я-то вам писала: возвращайтесь, возвращайтесь, будете жить спокойно. А оно вон как вышло... Но кто же мог знать?

– Ну о чем ты говоришь, Люша! – воскликнула Екатерина Алексеевна. – За что мне на тебя-то сердиться? Как такое можно предвидеть? Да и где нынче мое место, как не здесь... Танцы закончились, и я о том, поверь, не жалею. Но кому я теперь нужна, кроме этих стариков? А им нужна... В общем, как это ни странно, мне нынче жаловаться особо не на что...

– Хорошо, Катиш, что вы так видите, – кивнула Люша. – Не всякая бы смогла. Но кто ж нынче Торбеево управляет? Своего управляющего вы выгнали, я о том знаю, потому что мой муж пытался его в Синие Ключи нанять, да я воспротивилась... Может и ввали, но говорили мне, что это он моего отца когда-то вконец с Черемошинским миром поссорил...

– Думаю, не ввали. Мошенник он еще тот, а на людей, как на скотину смотрит...

– Но кто же у вас? Неужто Илья Кондратьевич?

– Как ни странно тебе покажется, но я сама. Я ведь, пока танцевала, привыкла свои дела вести. Сначала-то, пока молоденькая была, меня обманывали все. Любовники, управляющие, да еще они вечно мешались между собой... Один такой любовник-управляющий сбежал с моими деньгами и бижутерию и дом себе под Рязанью купил... Ох, как я тогда злилась! А что поделаешь, коли сама дура... Вначале-то я думала, что только мужчины вести дела умеют, а женщинам – оно заказано. Откуда мне? В Синих Ключах, где я росла, и помыслить нельзя было, чтобы Наталья Александровна вдруг в контору явилась и стала там гроссбухи проверять или, тем паче, указывать что-то... А потом я вдруг как-то увидела, что я сама в цифрах понимаю ничуть не хуже мужчин, и считать умею, и договариваться, и планировать, и раскладывать все, и балансы сводить. А математика-то мне еще в детстве нравилась, помню, сижу в парке на качелях и задачки про бассейны решаю. Столько втекло, столько вытекло... Просто для собственного удовольствия, чтоб ответы сошлись...

– Вот чего я никогда для собственного удовольствия не стала бы делать, так это задачек по арифметике решать! – рассмеялась Люша.

– А у меня вот так... И когда я это поняла, я стала по факту сама все свои дела вести. И сразу вдруг денег стало больше, а расстройства и свободного времени, чтоб вино пить и с любовниками путаться, значительно меньше...

– Это важно, – согласно кивнула Люша.

– Именно... И вот здесь, как с Иваном такое случилось, я и решила: а дай-ка попробую! Не выйдет, так не выйдет. По-первости мне Илья что-то подсказал, да Мария Карловна – спиритка...

– Да уж они подскажут! – усмехнулась Люша.

– Ну все ж польза, – возразила Екатерина Алексеевна. – Они-то до этого дела хоть как-то касались, а я прежде никак... Что ж, постепенно вникла во все, можно сказать, даже во вкус вошла. А теперь уж и Иван оправился немного, можно у него спросить... Я тебе вот что, не скромничая, скажу: о прибылях сейчас с этой войной и реквизициями, конечно, можно забыть, но урожай мы собираем хороший, а отношения с деревней у Торбеево нынче и получше будут, чем при Иване, Илье и твоём отце. Деревня теперь сама в растерянности немалой: самые активные из них еще при Столыпине на отруба ушли, а нынче еще мобилизация, и если из двух лошадей одну забрали...

– Мне тоже моих лошадей жаль! – перебила Люша, которая совсем не любила мыслить общественно-политическими категориями и смотрела на окружающий ее мир сугубо практически. – Эфира втроем со двора уводили, он не хотел, бился. Хоть он и злой всегда был, но я чуть не разревелась... Жалко! У меня Голубка ожеребиться должна, а ветеринар говорит: старая, не родит... А она ведь умная, как человек и мне так хочется, чтоб жеребенок был. Вдруг ему ее ум передастся?

– Тут раз на раз не приходится, – вздохнула Екатерина Алексеевна. – Вон твой отец – умный человек, не поспоришь. А Пелагеюшка-то как умна была, хотя и грамоте толком не разумела! И вот Филиппу, сыну их, много ли передалось?

– Это – да, – согласилась Люша. – Но вы Владимира-то, сына Филиппа и горбуны Тани, племянника моего, видали?

– Мельком. А что с ним? Правда ль, как в деревне говорят, что у него – хвост? Или болтают?

– Правда, Катиш. Как приедете, я вам покажу. Он им даже вилять умеет!

– Поди ж ты! – всплеснула руками Екатерина Алексеевна. – Ну хвост-то он на попе. А с головой у него – как?

– Странно. Иногда он днями сидит как пень, молчит, еду по комнате разбрасывает, пишет в штаны и чуть не слюни пузырями. Если кто его в это время тронет – может орать не по-человечески, драться. Потом вдруг ни с того, ни с сего начинает вполне себе говорить, играть, как детям по его возрасту положено, и всякую аккуратность соблюдать. Тогда подходит ко всем, спрашивает, даже приласкаться иногда может. Но по-настоящему в любом состоянии справляется с ним только Кашпарек. Если он уйдет (а это в любой момент может случиться, у него глаза на дорогу смотрят), прямо и не знаю, как мы с Владимиром будем...

– Да уж, племянничек-подарочек... А с отцом-то он видится?

– Конечно, я регулярно его в гости к деду и отцу вожу. Филипп с ним в лошадки играет и книжки читает. А Мартын в лес гулять водит. Ему вроде там у них больше нравится, чем в усадьбе, но не оставлять же и этого в лесу... Мне колдунья Липа рассказывала: Таня, еще когда Владимиром беременная была, сон видала – будто нечисть лесная собралась кругом и ее ребенка усыновила и в лес за собой увела. Не быть посему!

– Конечно, конечно... – закивала Екатерина Алексеевна, и как в этот момент давешняя старушка-служанка пришла сказать, что хозяин волнуется и требует чай пить. А Влас спрашивает: можно ли везти?

– Пускай везет! – махнула рукой Екатерина Алексеевна и попросила Люшу. – Ты уж хоть иногда делай вид, что понимаешь его, ладно?

– А я и вправду пойму, – улыбнувшись, пообещала Люша. – Я такому быстро обучаюсь.

Бывшие крепостные, хоть и древние, на стол накрыли сноровисто и аккуратно. Все, как при прежних барах: чашки тонкого фарфора с хрупким голубым узором, сдоба в корзинах (до той, что печет Лукерья из Синих Ключей, конечно, далеко, но, если забыть про ту – очаруешься ароматом), разные варенья, мед и, на отдельном приставном столике – самовар, благодушно отражающий в блестящих круглых боках окрестное пространство. А над самоваром, на стене – парный портрет (Илья Кондратьевич написал, должно быть, вскоре после свадьбы приемной дочери): молоденькая девочка с диковатыми глазами и совсем еще не старый, почти и не грузный даже, сибирский золотопромышленник... Портрет другой девочки, Наташеньки Мурановой, тоже висел поблизости – небольшой, в овальной рамке – и казался таким же старинным, как мейсенские пастушки в горке за стеклом.

Глава 4.

В которой купеческая вдова знакомится с Петроградом и получает печальное известие, а психиатр Адам Кауфман оказывается в окружении разбитых надежд.

Город Раисе не понравился сразу, с вокзала.

Грязные, засаленные подолы юбок, треухи, немытые лица, желтый свет.

Потом – закопченные дома, низкое, недоброе, словно опухшее небо. Извозчик на вокзальной площади запросил огромные деньги и как будто делал одолжение. Раиса сразу пожалела, что не поехала на трамвае. Небось, как-нибудь добралась бы. Заодно и с людьми поговорила – расчуяла бы, что тут и как.

Хотя что тут чують, если и так видно – дурно. Война. На улицах женщины в черных платьях, везде расклеены агитационные листовки и плакаты с призывами. Мельком увидела на тумбе картину, где призывали жертвовать выписывающимся из госпиталей инвалидам: поддерживая друг друга, стоят два солдата. У одного нет ноги, у другого – руки. Прошептала: голубчики солдатики! – и тут же расплакалась в батистовый платочек. А что если и мой Лука так?!

В клинике для нервных и психических больных, адрес которой был в письме, Адама Кауфмана не оказалось. Красивая, хотя и немолодая медсестра-малороссийка послала Раису в госпиталь Вольноэкономического общества, устроенный на Обводном канале. Адам Михайлович там консультирует по вторникам и средам. А по понедельникам и пятницам в госпитале Технологического института. А по воскресеньям – в частном госпитале у купца Обухова. А в среду – преподает студентам и ведет больных в Бехтеревском институте. Война, хороших врачей не хватает, многие ушли на фронт. «Да, да, голубушка, я знаю, у меня как раз письмо от его друга врача с фронта... А Адам Михайлович хороший доктор?» – Малороссийка поправила туго накрахмаленную косынку и минут пять тоном важного лектора рассказывала о том, каким замечательным, редкостным врачом и одновременно ученым является Адам Михайлович. «После всех работ – еще и в лабораторию! Непременно! И сидит там за микроскопом, и пишет, пишет что-то... Иногда до самого утра! Когда только времени еще и на семью хватает!» – В последней фразе женщины Раисе почувствовалась некая толика лицемерия, но у нее просто не было сил как следует подумать о семейном устройстве Адама Кауфмана, который днем работал в пяти больницах, а по ночам глядел в микроскоп. Узнав, что Раиса только что с поезда, медсестра любезно предложила ей чаю. Женщина всей душой отозвалась на первое встреченное в неприветливой столице дружелюбие, поблагодарила сердечно, но отказалась – внутри ее с самого прибытия мелко вибрировала какая-то жилка и требовала: скорее, скорее!

До госпиталя поехала на трамвае (медсестра объяснила все подробно). Смотрела в окно на поднимающиеся вверх дома. Каждый со своей физиономией, по большей части столично-надменной. В трамвае ругали немцев, и как-то странно говорили об императрице. Раиса поежилась, ей стало неприятно. Царь и царица – это же главное в стране, как мать и отец в семье, почти как Бог и Богородица на небе. Как же можно?!

Потом, неожиданно быстро, потянулись темные окраинные кварталы. Кондуктор назвал ее остановку. Раиса вышла. Над Обводным каналом едва слышно шумел мелкий холодный дождь. Хотя было еще только три часа дня, у подъезда нужного ей дома, разго-

няя подступающие сумерки, ярко горел фонарь. Высокая тяжелая дверь скрипнула предупреждающе.

Ровные стены непонятного в желтом электрическом освещении цвета, двери, коридоры в разные стороны... куда идти? За одной из дверей – двустворчатой, с выкрашенными белым стеклами – обнаружилась пальма в горшке, стул и широкая лестница. Было чисто, Раиса это сразу отметила: но пахло, увы, так, что прямо с порога сжималось сердце и хотелось тут же бежать куда-нибудь со всех ног. Не просто больницей – лекарства, дезинфекция, много нездоровых людей на небольшом пространстве... – но еще чем-то пронзительно-кислым, тоскливым, мокрой овчиной, что ли; и кислой ржавчиной. Войной пахнет, подумала она, идя вслед за санитаром к врачебной комнате. Войной, чем же еще.

Адам Кауфман почти вбежал в комнату. Раиса встала и, не удержавшись (знала, что этого – не нужно), подалась навстречу. Невысокий, лишь чуть выше нее. Холодный бархат больших темных глаз, сухие коричневые пальцы, белый, с синевой халат, наброшенный на неширокие прямые плечи. В руках ничего нет, только на шее болтается стетоскоп, но отчетливое ощущение, что в комнату внесли что-то существенное, почти громоздкое. Он сам и внес.

– Кауфман, Адам Михайлович, врач. Мы с вами... Простите, я, кажется, не имел чести...?

– Да, да, простите меня, голубчик Адам Михайлович, что я вас, незнакомого мне человека, побеспокоить решилась. Овсова Раиса Прокопьевна, вдова. Только что из Первопрестольной, с вокзала. Если бы не крайняя надобность, я бы ни за что... Но ведь никого решительно в столице не знаю, не ведаю, с какого края хвататься, а к вам у меня рекомендация, письмо, вот, от вашего друга Арабажина Аркадия Андреевича...

– Письмо от Аркаши?! – к ужасу Раисы Адам покачнулся и тут же землисто побледнел.

– Голубчик Адам Михайлович, что это с вами?!

– Дайте его мне, дайте скорее письмо! – протянутая рука дрожала, как у нищего на паперти.

Испуганная странной реакцией врача, ничего не понимая, Раиса торопилась, сорвала заусенец на ногте, едва не сломала замочек у сумочки.

– Вот, вот же оно! Вот тут он к вам...

Не слушая, Адам начал читать с начала, с неприличной по отношению к чужому частному письму жадностью.

«Здравствуйте, уважаемая Раиса Прокопьевна!

Пишет к вам по поручению Луки Евгеньевича Камарича Аркадий Андреевич Арабажин, старший врач санитарного поезда номер четыре. Находимся мы сейчас в xxxxxxxxxxxxxx (вымарано военной цензурой) в полутора десятках километров от xxxxxxxxxxxxxx (вымарано цензурой). Мы с Лукой Евгеньевичем знакомы с 1905 года, и с тех пор сообщались регулярно, неизменно испытывая взаимное дружеское расположение. К моему глубокому сожалению, нынешняя наша встреча вышла нерадостной. В бою под xxxxxxxxxxxxxx (вымарано цензурой) Лука Евгеньевич получил тяжелое проникающее ранение, сопровождающееся контузией. Начальник нашего санитарного поезда Петр Ильич Ильинский, блестящий хирург, при нашем скромном посредстве сделал все возможное для стабилизации состояния больного, которого мы уже завтра утром передадим на попечение персонала тылового санитарного поезда, идущего прямоком в Петроград. Там, при благоприятном течении событий и Вашем желании, Вы сможете Луку отыскать и оказать душевное и всяческое другое вспоможение его скорейшему выздоровлению.

Лука попросил непременно Вам написать, что он Вас всей душой любит и уважает, и нынче лишь Ваш светлый образ горит перед ним во тьме его страданий. К Вашим ногам припадая, пьет из прохладного источника Вашей сердечной привязанности, ничуть им не заслуженной, но тем не менее пролившейся на него (Луку Евгеньевича) не иначе как по произволению Бога, в которого он с четвертого гимназического класса не верил, а теперь, после Вашего явления в его жизни, даже не знает, что по этому поводу и думать... Но благодарит неустанно и любит пламенно.

Вот, пишу дословно.

Не смейтесь, милая Раиса Прокопьевна, над пафосом, ибо раненные после контузии и операции, придя в себя, часто выражаются витиевато. Но неизменна здесь искренность сердечного порыва, потому что (верьте моему опыту фронтового и гражданского врача) человек, находясь на краю, практически никогда не врет ни словом, ни чувством.

Лука, кстати, просит Вас в Петроград не ехать, а ждать от него вестей. Но если Вы все-таки решитесь, то осмелюсь предложить Вам обратиться за содействием к моему лучшему другу Адаму Михайловичу Кауфману, который нынче проживает в Петербурге. Проще всего будет Вам отыскать его на рабочем месте, в клинике нервных и психических болезней на набережной реки Мойки. Думаю, что он, как человек социально ушлый и добрый в глубине души, быстро поможет Вам отыскать след Камарича в недрах нашей госпитальной системы.

*С искренними пожеланиями благополучия и всяческих удач,
Остаюсь всегда Ваш Аркадий Андреевич Арабаджин
22 октября 1914 года».*

Дочитав письмо, Адам как будто бы побледнел еще больше, но тем не менее отчетливо взял себя в руки.

– Благодарю вас, Раиса Прокопьевна. Возьмите. Простите мое, нарушающее все границы, нетерпение. Оно объяснимо вполне, но тем не менее никак не извинительно. Аркадий Андреевич был моим самым близким и, возможно, единственным другом...

– Был?! – Раиса, разом задохнувшись, поднесла ко рту дрожащие пальцы. – Разве он...

– Согласно полученным нами сведениям, Аркадий погиб 24 октября, через два дня после написания этого письма.

– Боже мой! Какой ужас! Бедненький Аркадий Андреевич! И еще больше бедный – вы! Адам взглянул на женщину с удивлением.

Раиса вытерла слезы и деловито пояснила свою мысль:

– Он-то ведь врач, людей спасал, и погиб за то. Стало быть, сейчас уже с ангелами у Бога, в довольстве, с райским прибытком. А вот у вас, голубчик Адам Михайлович, убыток страшный – лучший друг погиб, и в сердце пустота, так и тянет, и тянет сквозняком и болью...

– Да! – Адам зажмурился, и вдруг перед этой откровенно глуповатой, пухлой, совершенно чужой ему женщиной, высказал то, что носил в себе и не доверял никому. Говоря, торопился, едва не захлебывался словами, словно опасался не успеть. – Именно – пустота! Именно – сердечный сквозняк! Вдруг, ни с того ни с сего – пустое место там, где всегда было наполнено. Мы вместе росли, мужали, но уж давно жили в разных городах, виделись хорошо если три-четыре раза за год. Он писал мне, а я и писем писать не люблю... Но была, была какая-то нитка нерасторжимая. Тянулась от него ко мне. И теперь каждый день, едва ли не каждый час: о, вот это надо непременно Аркаше сказать... А вот с этим Аркашка ни за что

не согласится, и славно будет поспорить... Не будет никогда! Невыносимо! И страшно, как в темной комнате в детстве – куда же он ушел без меня?

– Ох вы, голубчик Адам Михайлович! – Раиса шагнула вперед и приняла мужчину в свои мягкие, пахнущие цветочным медом объятия.

Кауфман дернулся было в нервном испуге, но тут же, ослабев, поддался странной ее ласке – не любовной, не материнской... Какой?

А Раиса гладила его по голове, по плечам, по спине и самозабвенно плакала за него, сладкими долгожданными слезами, с подвывом, выплакивая миру неожиданную для самого Адама, звериную тоску по погибшему другу, которому он столько всего не успел сказать, показать, рассказать... И теперь уже никогда-а-а...

После Раиса вытерла покрасневшее лицо, убрала в сумочку промокший платок, достала свежий:

– Слезлива я, за собой знаю, потому всегда запас ношу. Вы уж простите меня, голубчик Адам Михайлович...

Адам, на дрожащих ногах, мучительно стыдясь наступившего столь странным образом облегчения, прятал глаза.

– Что ж, – сказал он наконец. – Вам, как я понимаю, надобно возможно скорее отыскать вот этого человека из письма, раненного, которого привезли в Петроград... как его фамилия?

– Камарич. Лука Евгеньевич Камарич.

– Серб, что ли? Да это не важно, главное – не Иванов и не Петров, думаю, отыщется быстро. Дата нам известна, номер Аркашиного поезда – тоже. Есть у меня один человек знакомый в госпитальном управлении...

– Спасибо вам, голубчик Адам Михайлович, спасибо! Буду молиться за вас...

– Молитесь за тех, кто на фронте, им нужнее, – сухо предложил Адам. – Вам есть где остановиться?

– Я еще не думала. Гостиницы...

– Город переполнен. Мобилизация... Я дам вам сейчас один адрес, там должны быть комнаты. Придете ко мне завтра, после семи вечера, в больницу на Мойке. Может быть, к тому времени уже удастся что-то узнать. Если нет, забросим невод пошире и будем ждать... А вы Луку Евгеньевича давно ли знаете? – не удержался Адам.

Почему-то ему казалось, что перед ним – мимолетная интрижка пылкой пышнотелой вдовушки и лихого Аркашиного приятеля-ловеласа, серьезность и даже трагизм которой придавала разразившаяся война. Или ему уже хотелось, чтобы дело обстояло именно так?

– Да уж почти десять годочков, – разом развеяла все предположения Адама Раиса. – С восстания на Пресне. Я его тогда от солдатиков спасла, а он у меня бомбочку и пистолет позабыл...

– Так что ж, Лука Евгеньевич – террорист, что ли?! – нешуточно изумился Кауфман.

Меньше всего Раиса Прокопьевна была похожа на подругу революционера-бомбиста.

– Не без того, спаси его Господи... – вздохнула женщина. – Не без того... Ну так я вас больше от трудов отвлекать не стану. Пойду теперь. А завтрачка приду непременно, как вы сказали...

– И зачем только ты, Адамчик, мечтаешь построить в России еще один сумасшедший дом? – пробормотал Кауфман себе под нос, проводив Раису до дверей и оставшись один. – И по каким, собственно, признакам ты, если дойдет до дела, станешь определять: кого туда сажать, а кого оставлять снаружи?

С уходом Раисы у него возникло странное ощущение. Как будто она не только ушла сама по себе, но и унесла что-то с собой. Что бы это могло быть?

Быстрый поиск, предпринятый знакомым Адама, ничего не принес. В сводных списках солдат, находящихся на излечении в петроградских госпиталях, Лука Камарич не значился. В списках умерших – тоже. Среди выписавшихся из госпиталей его фамилия также не встречалась.

– Как же это может быть? – растеряно спросила Раиса у Адама.

– И ничего удивительного, – раздраженно сказал Кауфман. – Простая неточность в списках. Российская бюрократия всегда была тупа и неповоротлива, а уж сейчас, когда ситуация меняется каждый день, огромные массы людей перемещаются туда-сюда и нужно действовать быстро... Понятно, что обычное для чиновников количество ошибок и несогласований возрастает многократно. Что ж, человек не иголка в стоге сена, будем искать дальше.

– Может быть, мне просто самой объехать все больницы?

– Это неподъемно, а главное – не нужно. На сегодняшний день в Петрограде уже имеется 68 госпиталей, где принимают раненных, и едва ли не каждый день появляются новые. Больше половины из них – маленькие частные лазареты на 10–20 коек, открытые в частных домах на средства владельцев – купцов, промышленников, даже артистов и поэтов. Вот буквально на той неделе я консультировал безногого солдата с реактивным психозом в лазарете, который основал мой старый знакомый, писатель Арсений Троицкий... Наверняка в одном из таких мест, не включенном покуда ни в какие общие списки, и находится ваш Лука Евгеньевич. В конце концов мы его непременно отыщем.

– Спасибо, спасибо, голубчик Адам Михайлович...

– Но? Я слышу это «но», Раиса Прокопьевна. Говорите!

– Что же мне покудова делать-то? Я ж не привыкла вовсе без дела, без людей...

– Почему без людей? В Петрограде три миллиона народу, не считая запасных полков. Вам мало? Осматривайте достопримечательности. Сходите в театр, послушайте оперу...

– Да, да... Театр, конечно. Днем оно еще как бы и ничего, а вот к вечеру – безотрадно в особенности. Да еще у вас тут и темнеет как бы не с утра...

– Если желаете, можете вечером оставаться со мной в лаборатории, все равно приходите каждый день новости узнавать, – резко, глядя в сторону, сказал Адам. – Только не ждите, что я буду особенно занимать вас беседой...

– Ой, спасибочки вам, голубчик Адам Михайлович! – розаном расцвела Раиса. – Не волнуйтесь, я вам и минуточки не помешаю, я ж купеческая вдова, свое место знать привыкла...

* * *

Знающая свое место купеческая вдова за несколько дней буквально преобразила жизнь Адама. И дело было вовсе не в сдобных плюшках, которыми Раиса потчевала его ровно в тот момент, когда заканчивался очередной опыт или просмотр препарата (Как она узнавала?). И не в узорах и мережах, которые она вышивала на пяльцах, уютно сидя в углу под лампой в потертом креслице. (Сначала она, чинно сложив руки на коленях, сидела на жестком стуле – других у Адама не водилось, а он сам работал на вертящемся железном табурете. И лишь потом он украдкой, оглядываясь, принес для нее кресло из больничного холла.) Удивительное преобразование заключалось в том, что вопреки всем своим правилам и даже чертам характера Адам с Раисой – говорил. Говорил обо всем подряд, вперемешку, словно узник, выпущенный из одиночной камеры Петропавловской крепости. Рассказывал о своей дружбе с Аркадием Арабажиным. О том, что в этой дружбе именно его, Адама Кауфмана, все и всегда считали первым номером, замечая лишь острый и быстрый ум, но на самом деле именно Аркадий, с его гармонией неторопливого ума и любви к людям достоин был уважения и даже подражания. Чуть не впервые в жизни говорил с посторонним человеком

и о своей семье – трогательно заботливой и смешной еврейской родне, частично московской, частично приехавшей из Кишинева после тамошних погромов. О мудрой бабушке Рахили. О детях – сыне и дочке. О своей заветной мечте – иметь собственную клинику нервных и психических болезней, в которой можно будет, ни с кем не сообразуясь, применять для облегчения страданий больных самые передовые из имеющихся методов и даже изобретать новые.

Раиса умела слушать. Все принимала. Иногда просто начинала тихо плакать. Адама всегда, с детства бесили женские слезы (в семье Кауфманов плакали и даже рыдали часто, охотно, напоказ). У нее – слезы казались естественными и освежающими, как летний дождь, и пахли лесными фиалками (может быть, фиалками пах весь запас Раисиных носовых платков, но Адам об этом не задумывался). Иногда ему казалось, что она плачет за него – он отчетливо помнил себя с трех лет, но даже в детстве не мог припомнить себя плачущим. Вскоре он поймал себя на том, что объясняет ей каждый этап проводимых им опытов. Она слушала и задавала вопросы, почти всегда впопад. Однажды он не выдержал и спросил с язвительной бесцеремонностью:

– Раиса Прокопьевна, неужели вы понимаете про условные рефлексы и проводимость нервно-мышечных волокон?

– Теперь понимаю, – спокойно ответила она. – Я же у Варвары Тарасовны третьего дня учебничек взяла и, пока в госпитале дежурила, половину и прочитала. Интересно, только мне лягушечек уж очень жалко...

– Вы за полдня прочли половину учебника по нейрофизиологии?!

– А что ж вы удивляетесь, голубчик Адам Михайлович? Я вообще по натуре любопытная, и в Москве всегда на лекции публичные ходила. Голубчик мой муженек меня из последнего класса гимназии замуж забрал, но на лекции завсегда отпускал. Про динозавров вот мне, помню, очень понравилось, и еще про микробов... А уж как мне Лука Евгеньевич интересно про кристаллы рассказывал – заслушаешься...

– Хм-м... – здесь наступил тот редкий случай, когда Адам не знал, что сказать. – А в каком это, позвольте спросить, госпитале вы дежурили?

– Да вот в том самом, где мы с вами в первый раз и повстречались, на Обводном канале, других-то я и не знала. Отчего нет? Красотами столичными я любоваться не обучена, да и погода не располагает. Что ж мне днями дома сидеть? В медицине я, конечно, ничего не разумею, но вот утешить кого болящего, утку поднести, суднецо, за руку поддержать, о доме поговорить, письмецо написать – это ведь тоже в лечении голубчиков солдатиков немаловажно, правда ведь?

– Угу, да, конечно, вы правы, – пробормотал Адам и поймал себя на чувстве совершенно абсурдном: он отчетливо ревновал Раису к тем раненым солдатам, которых она держала за руку и которым подносила утку, чтобы они могли помочиться.

«С ума с ней сойдешь!» – подумал он и отчего-то пожалел сам себя.

* * *

Все закончилось ранним утром в четверг. Он еще не успел толком переодеться, как Варвара Тарасовна зашла к нему в кабинет с многозначительно-участливым выражением на круглом лице:

– Ох, беда-беда...

Адам не любил чужой многозначительности, потому что сам был к ней склонен.

– У кого-то ухудшилось состояние? Что-то еще? Говорите!

– За полчаса до вас телефонировал из госпитального управления Савельев. Велел вам передать по вашему запросу, что вольноопределяющийся Камарич Лука Евгеньевич скончался от ран в тыловом санитарном поезде номер 12 по пути в Петроград 24 октября

1914 года. Сказал, кто хлопочет о нем, может прийти в управление – взять выписку и место узнать, где его похоронили...

– Черт! Черт! Черт! – прошипел Адам. – В один день с Аркашей...

Ему хотелось заорать во весь голос, заплакать и расколотить что-нибудь весомое. Он знал, что ничего этого не сделает.

– Бедная Раиса Прокопьевна... – вздохнула Варвара Тарасовна. – Она так ждала о нем вестей. И вот... Но он ведь ей не мужем приходился... она же вообще-то вдова... И вроде бы строгих правил семья, как она сама рассказывала. Вы ведь, наверное, знаете?

– Не знаю! – рявкнул Адам. – И не желаю ничего знать! Извольте приготовиться к обходу!

Раиса выслушала трагическое известие стоя, комкая в пальцах неизменный платок. В глазах – ни слезинки. Помолчала, потом глубоко поклонилась Адаму и медсестре:

– Что ж, Адам Михайлович и Варвара Тарасовна, вот и кончилось все. Спасибо вам за привет, за ласку, за хлопоты. Теперь схожу я в церковь, да в госпиталь, с солдатами попрощаюсь, да и на вокзал...

– Раиса Прокопьевна! – воскликнула медсестра. – Да не ходите вы в госпиталь, зачем вам лишний раз душу травить!

– Доброе отношение и кошке приятно, – строго сказала Раиса. – А там небось не котят, люди лежат. Негоже так, пойду. Прощайте, не поминайте лихом. Спасибо вам еще раз. Чудесные вы люди – добрые и душевные. С вами белый свет краше.

Когда ушла, было то же ощущение – унесла с собой. Теперь Адам отчетливо знал, что именно она унесла. Легкие слезы, летний дождь, возможность говорить, быть услышанным и понятым... его душу?..

* * *

Глава 5, в которой Люша разбирается с эротическим развитием двойняшек Ати и Боти и пишет письмо Аркадию Арабажину

– Расселять их надо, Любовь Николаевна, вот что я вам скажу! – Феклуша стояла подбоченившись, с пунцовыми пятнами румянца на щеках.

Люша сидела за столом в кабинете и смотрела за окно, где неостановимо падали с посеребрившего неба крупные хлопья первого, влажного снега.

Служанка поежилась. Ей показалось, что в больших прозрачных глазах хозяйки, внутри тоже идет снег. «Это отражается так! – сказала она себе. – вроде как в зеркале.»

– Кого расселять, Феклуша? Куда?

– Анну и Бориса, близнецов ваших. Нельзя им дальше в одной комнате быть, грех.

– Какой грех?! В чем? Они родные брат и сестра, им десять лет.

– То-то и оно! Второй десяток пошел. Самое время для баловства. Нешто вы, Любовь Николаевна, нашу Атьку не знаете?

– Ну что она еще натворила? – покорно спросила Люша и сплела пальцы поверх бумаг, которые она вроде бы должна была просматривать. – Сядь, расскажи.

Феклуша церемонно присела на краешек стула, но, против своего обыкновения, не кинулась сразу в рассказ. Пожевала губами, расправила на коленях фартук...

– Право, не знаю, как вам и сказать, Любовь Николаевна...

– Говори уж как-нибудь, коли взялась.

– Захожу это я к ним нынче поутру... Они-то не ожидали, а я вот щетку где-то позабыла и пошла искать. И вижу – господи, Иисусе: он-то на кровати сидит, а она перед ним на полу и знай петуха ему вылизывает...

– Ага, – вздохнула Люша. – Атька, значит, тоже экспериментирует. Только он с жуками и тараканами, а она – с братом. А Ботя что?

– Как меня увидел, вскочил, покраснел, как рак вареный. Штаны спущены, эта-то штука болтается, бо́льшенькая такая уже... А Атька сразу ластиться: мы больше не будем, это я его уговорила, ты, Феклуша, только Люшике не говори, а я за тебя все серебро перечищу, и хрусталь уксусом вымою...

– А ты?

– Ну, я думаю, что нам таких безобразиев ни с какого боку не надо! Что-то еще будет, если Александр Васильевич узнают!

– Ладно, ладно, Феклуша, ты права, я как-то не сообразила, что они по хитровским меркам взрослые уже.

– У нас тут небось не Хитровка, а приличный дом! – строптиво, но непоследовательно воскликнула служанка.

– Конечно, конечно... Придется их действительно расселить. Куда бы, как ты думаешь? Атя, допустим, пускай с Олей живет. Оля взрослая уже и спокойная, за ней заодно и присматривать. А вот Боте надо бы отдельную комнату с большим шкафом для всех его коллекций, эксикаторов, формалина и прочего...

– В северном крыле если, – предложила Феклуша. – За бильярдной сразу комната, а к ней еще и каморочка прилагается. Если оттуда весь старый хлам вынести, и полки сделать, так можно и Ботькины коробки и жуков сушеных расставить...

– Да, да, пожалуй, Феклуша, по-твоему мы и сделаем. Скажи там Егору и Насте, что я распорядилась. А Атю с Ботей, как увидишь, пришли ко мне – я им сама объясню, они же всю жизнь вместе, наверняка будут переживать... Хотя Ботька, когда все узнает подробно, может, и не будет, сестра же его все время тормозит, а у него свои интересы... А вот Атька... да бес с ней, она вроде обмылка, изо всего вывернется...

После ухода Феклуши Люша ненадолго задумалась, глядя на все еще падающий снег, потом придвинула к себе лист бумаги и обмакнула перо в склянку с чернилами.

«Здравствуйте, милый Аркадий Андреевич!»

В моем умственном и душевном устройстве, а также жизненном опыте нет ничего, что могло бы подтвердить существование «того света» в любом его оформлении. Но равным образом отсутствует и однозначно отрицательный опыт.

Почему бы нет? – ведь миллионы людей как будто бы верят в то, что на том свете счастливо встретятся с близкими. Я знаю доподлинно, что ты сам – не верил. Но разве мир спрашивает нас, как ему устроиться? Мы пришли на готовое много после третьего звонка, застали вот этот акт спектакля и уйдем задолго до финала. Много ли мы успеваем понять?

Но в любом случае: будь проклята эта война и все те, кто ее устроил!

Я сейчас пишу еще и потому, что привыкла обращаться к тебе в минуты тревог. А ты ведь и прежде не особенно баловал меня ответами на мои письма. Что ж теперь... Все рады обманывать себя, вот и я могу думать, что тебе просто недосуг, или ты снова что-то вообразил себе и не считаешь возможным...

Я ведь опять живу с Александром. Моим как бы мужем. Он вернулся в Синие Ключи, и живет тут, и занимается хозяйством. Отношения у нас с ним – ты удивишься! – вовсе даже не плохие. Он занимается своим, я – своим, все вместе даже недурно выходит. Единственный камень преткновения в том, что воспитанников моих (всех вместе и по отдельности) он категорически не жалует. Они ему, само собой, платят полной и такой же категорической взаимностью. Ботя Александра обычно игнорирует, но иногда вдруг (всегда неуместно) выступает с обличениями его некомпетентности по какому-нибудь естественно-научному вопросу. Атя интригует среди прислуги. Кашипарек смотрит зверенышем и окликается на все через свою марионетку, которую Александр, по-моему, ненавидит личностно, как живое, отдельное от мальчишки-хозяина существо. Оля Александра избегает, причем выглядит это почему-то крайне демонстративно, почти как в романах господина Тургенева: дуновение, топоток, летящий край косынки, ветер с веранды, запах сирени, незакрытая дверь, отголоски... оски... оски... «Почти» потому, что у Тургенева все это получается глупо-аристократично, а в Олином «белошвейкином» исполнении приобретает какой-то оттенок вульгарности, словами не описываемый, но ощущаемый весьма отчетливо. А Владимир при первой возможности попросту гадит Александру в сапоги. А потом Атя (лицемерно до последней степени):

– Ах, ах, Александр Васильевич, опять мы за этим паршивцем не уследили! Ах, ах, какая неприятность! Говно-с! В хозяйских сапогах... Как представить... мало того, что наложил, так он там еще и хвостиком своим паскудным... туда-сюда, туда-сюда...

Знает ведь, мерзавка, что Александр брезглив и обладает живым воображением... Приходится мне кидаться, чтоб он не придушил ее ненароком.

Капочка все это видит, конечно, и страшно переживает – она же у нас миротворица и всех со всеми хочет помирить и задружить. Но ума в этом деле пока особенного не проявляет. Недавно пыталась задружить козу Люську с собакой Жуликом – после ей на лоб пришлось шов накладывать. Ветеринар наложил вроде неплохо (ты бы лучше сделал, я знаю, у тебя руки добрые), но ирам все равно останется, а к лицу ли девице? И когда Капитолина сказала, что бык Эдвард такой свирепый от одиночества (ты ж знаешь, он на своем долгом веку двух человек убил, и еще трех покалечил), а был бы у него настоящий друг, он бы и подобрел – я на всякий случай настрого запретила ее в коровник пускать.

Печаль моя – рожая жеребенка, от сердечной недостаточности (так ветеринар сказал) померла моя старая лошадь Голубка. Для меня она была даже не как человек, а еще прежде всех человек в моей жизни. Я с ней общалась всю тогда, когда людей еще и понимать не умела, и говорить с ними толком не могла. Свой лошадиный век Голубка прожила сполна, но я все одно – как в кадушку опущенная. Впрочем, она ушла, да не совсем, жеребенок как по заказу – кобылка беленькая, один в один – Голубка. Назвала Белкой, сама пою из соски молоком. Сначала тревожились за нее, а теперь вроде видно уже – выживет без мамки.

Забавно, что единственный у нас ребенок, к которому Александр относится без предвзятости – Грунькин Агафон. Учитывая, что Груню он всегда терпеть не мог, да и Агафонова отца, Степана, не слишком жаловал – оно выходит как бы и странно, но не совсем. Как я по смутным слухам (от Груньки ничего толком не добьешься, а Алекса я, чтобы не спугнуть, расспрашивать не стала) поняла, Александр чуть не присутствовал при рождении Агафона, и потому, видимо, психически назначил себя кем-то вроде восприемника. Увидев мальчишку, непременно сделает ему козу, и уж несколько раз заводил разговор: как бы обеспечить Агафону развитие, коли у него отца нет, мать глуха, а сам он слышит и, стало быть, говорить может нормально. Я его уверила, что все хорошо, и в том не лукавила, потому что в нашем общем таборе Агафон развивается вполне в соответствии с возрастом, хорошо (куда лучше Владимира, который его старше) говорит и понимает все совершенно.

Кстати об отцах, которые материя вроде бы для детского обеспечения и вправду необходимая. Как-то у нас тут с ними не очень складывается. Какая-то моя личная нелепость? Особенность Синих Ключей?

Хотя мы и обговорили это не раз, Александр то и дело не удерживается, и начинает перетягивать Капочку на свою сторону, недвусмысленно предлагая ей выбирать между «по-маминому» или «по-папиному». Капочка, душою привязанная не только (и, может быть, даже не столько) ко мне лично, но и ко всему тесно завязанному на мне усадебному балагану, и одновременно желая угодить отцу, рвется душою напополам, чахнет, чешется и прямо на глазах покрывается какими-то корочками и коростами.

Дальше. Филипп и Владимир. Мой сумасшедший братец и хвостатый племянник. О!

Владимир приблизительно половину времени проводит в усадьбе, но через некоторое время неизменно просится в лес, на лесникову заимку, к отцу и деду. Если к его просьбе не прислушаться, начинает хандрить, потом перестает есть и разговаривать, сидит на одном месте, раскачивается и смотрит в одну точку. Отвозим его в лес, там он сразу оживает.

– Володя, а «они» с тобой разговаривают? – Филипп, встревожено, сыну. Сам он голосов после лечения у Адама почти не слышит, но помнит прекрасно, как это было.

– Конечно, папа! – Владимир отцу.

– Пугают? – отец весь исполнен сочувствия, готов отдать сыну всех деревянных лошадок и любимые книжки с картинками (Владимир в игрушки не играет совсем, ломает их, как и я когда-то. Чтение вслух, впрочем, слушает охотно).

– Нет! Нет! Что ты, папа! – Владимир лучится улыбкой и (уверена!) благожелательно виляет хвостом внутри просторных штанишек. – Я сам «их» пужаю! Они меня боятся!

Филипп горд и счастлив, делится со мной своей отцовской гордостью. Сын еще такой маленький, но уже могучий, всех победил. Я спрашиваю у Владимира:

– Кто такие «они»? Где?

– Там, там, там! – говорит малыш, водит ручкой вокруг (она – увы! – осталась после переломов немного кривой, но вполне работает). – Они же холёши, чего папа их боится? Смотри...

Тут с дерева слетает птичка, садится ему на голову. Прибегает белка, лезет в карман. По тропинке к нам идет важная осенняя жаба с интеллигентным лицом.

– Это те, которых ты видись, – объясняет Владимир. – А те, которых я вижу, они вон там сидят. Это девки Синеглазки лесные слуги...

– Хорошо, хорошо, отпусти их теперь, – говорю я. – Когда подрастешь...

– Когда подрасту, буду кольдуном, как бабушка Липа. Папу раскольдую и всех. И еще накольдую, чтоб на войне не убивали...

Что мне думать? Везти его уже к Адаму или погодить еще?

Еще об отцах.

Грунька про Степку не говорит и как будто не вспоминает, вполне довольная своим одиноко-материнским положением. Мне даже обидно за него иногда делается: что ж, она сама с ним все чуть не силком устроила, а после – как ненужную ветошь: с глаз долой, из сердца вон? Я сама-то за Степкой чуть не каждый день скучаю, да мы ведь и выросли вместе, и жизнь он мне тогда на пожаре спас, и по хозяйству мне ему всегда проще всех объяснить было, потому как слов не нужно почти – он меня еще до слов понимать умел. Знать бы, где он, как... да, может, тоже погиб уже давно...

Будь проклята война!

За что Россия воюет, кто бы мне объяснил?! У нас в Черемошне, и в Торбеевке, и в Песках уже полно вдов в черных платках, и сирот соответственно – что этим крестьянкам Босфор и Дарданеллы? За каким

хреном им сдался Константинополь, в котором нынче турки, а прежде жили римляне, греки и еще черт знает кто?! Им всем нужен ихний живой муж, отец их детей, чтобы пахал землю, косил луг, ел за столом большой ложкой и валял их на перине... Будь проклята!

В газетах пишут какую-то шуришащую чушь. В журналах, там, где претензия на какой-то анализ – чушь, шуришащая высокомерно...

Но все не зря. В каком-то нелепом журнале, среди подборок непонятных мне или откровенно бесноватых стихов вдруг – стихотворение женщины по имени Марина, как будто написанное – за меня:

*«Осыпались листья над Вашей могилой
И пахнет зимой,
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.
Смеетесь! – в блаженной крылатке дорожной.
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Я Вас целовала, я Вам колдовала,
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю, я жду Вас с вокзала –
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты,
На траурных лентах слова,
И если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже – мертва.
Я вижу, я чувствую – чую Вас всюду,
Что ленты от Ваших венков!
Я Вас не забыла и Вас не забуду –
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету -
Письмо в бесконечность,
Письмо в беспредельность,
Письмо в пустоту...»*

(стихи М.Цветаевой, написаны 4 октября 1914 года – прим. авт.)

Я жду тебя с вокзала. Будь проклята! Боже мой...»

– Люшика! Люшика! Люшика! Она все тебе наврала! Да! Это совсем не то! Совсем! Но мы все равно больше не будем! – Атя – легкая и хрупкая, как стрекоза, с быстрыми хитрыми глазками орехового цвета, бровями домиком и вечной, неизвестно что означающей полуулыбкой. Обняла, обхватила тонкими руками, прижалась щекой к рукаву платья. Муслиновая занавеска затанцевала от движения воздуха, открыв бледный свет в окне, где падал мокрый тяжелый снег пополам с дождем.

– Не будете, – согласилась Люша. – Потому что ты отныне станешь с Олей жить, а Ботька – со своим микроскопом.

Атю словно ветром отнесло на середину комнаты. Топнула ногой:

– Не хочу с Олей!

– Почему?

– Да она как марля, если ее намочить и выжать – белая и никудышная. Не хочу! Если хочешь Ботьку отселить, давай я тогда с Кашпареком буду жить. Он, как разозлится, за волосы дерет, но с евонной куклой хоть интересно...

– Вот сейчас! – рассмеялась Люша. – Могу себе представить... Не будем пугать Кашпарека, он у нас и так нервный.

– А я? – с обидой спросила Атя.

– А ты – хитровская порода – хоть об дорожку бей!

Атин взгляд из-под насупленных бровей облетел комнату. Все в ней было свое, обжитое до последнего заусенца. Лошади и собаки на большой картине, подхваченный лентами вышитый полог, лампадка под иконой, которую никогда не забывала зажечь Феклуша, еловые шишки и кисти рябины, красиво уложенные между оконных рам... Все – свое, но как будто уже чужое. Прошедшее.

Глава 6

В которой с разных сторон показана фронтальная жизнь наших героев

Приветствую тебя, дорогой отец!

Пишет тебе твой сын Валентин из расположения Белостокского полка.

Спешу сообщить тебе и маме, что я жив и здоров, а также бодр духом и горд своим личным свидетельством Истории. Это поистине Великая битва. Сбываются все надежды России.

Ты знаешь: я люблю войну за ее трагический воздух. Ибо только в ней и становятся мучительно и прекрасно ясны такие подзабытые в сытых салонах и пыльной библиотечной относительности вещи, как честь, героизм, смерть, самообуздание и самообладание.

Однако я помню из твоего предыдущего письма, отец, что тебя не слишком занимает моя жизненная философия, и лишь в подробностях и фактах фронтовой жизни ты готов признавать завлекательность моего рассказа. Изволь же.

Восточная Пруссия – житница Германии. Вступив в нее, наши войска нашли там изобилие благ земных. Солдаты из крестьян преуморительно закурили сигары, со своеобразной грацией держат их темными расплюснутыми пальцами и закатывают от удивления и наслаждения глаза, как дамы полусвета. В огромном, просто невероятном количестве гибнут гуси, утки, индюки, свиньи. В своем полку я борюсь с мародерством неукоснительно и сурово, но иногда даже и меня пробивает смех, потому что дело доходит до ужасных курьезов. Третьего дня я по обязанности подошел к ротному котлу, велел его открыть и был неприятно удивлен, обнаружив в нем какую-то темно-бурую жидкость совершенно несъедобного вида. «Что это у тебя?!» – спрашиваю кашевара. «Так что борщ, ваше благородие!» – отвечает солдат. – «Что ты туда положил?» – «Так что свинины, гуся и утку». – «А почему ж он у тебя такой черный вышел?» – «Так что, ваше благородие, я еще подложил два фунта шоколада и два фунта какао для навару». – «Ты с ума сошел, все испортил!» – «Никак нет, ваше благородие, уж очень вкусно! И ребята хвалят. Да вот испробуйте сами!» Я, конечно, от пробы отказался...

Рядом с этим забавным и ничтожным в сущности эпизодом, вот тебе важнейшее событие в моей жизни – вместе с командиром дивизиона недавно мне довелось побывать в ставке в Барановичах. Там очень спокойно и витает патриархально-пасторальный дух (я сначала тому удивился, а потом подумал: так и должно быть! Вот это именно домашнее спокойствие, в противоположность немецкой бесчеловечности, как раз и обнажает явственно мирный нрав славянства и вместе с тем нашу неколебимую непобедимость). Доцветают чертополох и поповник среди пожухшей травы, крикают в окрестных прудах утки, собираясь к отлету. Запах углей из самовара (постоянно стоит на столе и парит) и дождя – из открытой форточки. Ко всем притолокам прибиты

привлекающие внимание белые бумажки – чтобы наш крайне высокорослый Главнокомандующий не стучался об них головой. Мне посчастливилось обменяться с великим князем двумя фразами. «Капитан, вы ведь из действующей армии? Что скажете о духе войск?» – спросил Николай Николаевич, увидав меня на небольшом плацу, где я, чтобы ни на минуту не терять физической формы в дни испытаний, упражнялся в вольтижировке. «Он превосходен, ваше сиятельство!» – ответил я. – «Благодарю» – добро улыбнулся мне Великий князь и отправился стрелять уток к обеду.

Австрийцы – несложный противник, но поражает организация немцев, о которой рассказывал мне со слов разведки полковник Отрадный.

Начав войну и наступая в..., немецкие войска, погруженные в железнодорожные составы, ехали через мост. Строго каждые десять минут – состав. И так – две недели! Дисциплина и организация, которой можно лишь позавидовать и пытаться подражать.

Полковник Отрадный исполнен желчи, ты бы, как врач, сказал, что причиной тому – явственные у него проблемы с пищеварением. У нас не хватает паровозов, а царице каждый день везут из Крыма в будуар свежие розы. Считается, что армия в достатке снабжена винтовками, револьверами и патронами, но винтовки старого типа, с тупой пулей, обладающей плохими баллистическими свойствами. Генеральный штаб годами избавлялся от своих неспособных членов, сплавляя их командовать полками, бригадами и дивизиями, и назад в свою среду уже не принимал, вместо того чтобы правдиво аттестовать их непригодными к службе. Запасные, прошедшие японскую войну и наглотавшиеся революционных настроений, фельдфебеля называют «шкурой» и презируют, и даже перед командиром полка ведут себя развязно и вызывающе. Немцы непременно победят нас благодаря совершенству своей военной машины, таланту их стратегов и знаменитой прусской дисциплине. Я посоветовал Отрадному застрелиться, не дожидаясь всех этих печальных событий. Он сказал, что в мирное время непременно вызвал бы меня. Я вежливо ответил, что всегда к его услугам, но не лучше ли в нынешнее время послужить своей жизнью нуждам России?

– А вы точно знаете, Валентин Юрьевич, что ей нынче нужно? – вяло поинтересовался Отрадный.

– Да, – ответил я. – России нужна победа. И она у нее будет.

На сем пока заканчиваю, желаю вам с мамой крепкого здоровья и всяческого благополучия. Остаюсь ваш преданный сын

Валентин

Восточная Пруссия Август 1914 года

– Так что ентого надобно вам непременно различать, а иначе враз с панталыку собьют, – пожилой солдат поскреб толстым желтым ногтем пятнышко на прикладе винтовки, плюнул и вытер ветошью. – Враги бывают внешние и унутренние. Враг внешний – это австрияк, немец и германец, а враг унутренний – это жида, скубенты и евреи. Прежде все свое место знали, и таких безобразияев не было. Вот, помню, у нас под Мукденом...

Трое молодых солдат, раздевшись до рубаш, слушали ветерана русско-японской войны. Двое согласно и методично искали и давили вшей в снятых гимнастерках. Степан Егоров жевал травинку и смотрел в небо. В небе громоздились облака, похожие на стога золотого сена, а иные вроде бы напоминали избы зимой под снегом... или одуванчиковую

поляну... собачонку, которая свой хвост ловит... лошадиную морду... или бабу в полushалке... По этим сравнениям, если бы вдруг кому понадобилось, легко было бы угадать все мысли солдата. Но до солдатских мыслей, как и всегда на войне, никому не было дела. На войне важны только мысли военачальников, да и то не все сплошь, а лишь о том, как бы половчее и побыстрее убить побольше живых людей...

Желтая речушка медленно текла в глинистых берегах. В камышах посвистывали кулики и бежала, бежала на одном месте против течения стайка голенастых водомерок.

Вдалеке что-то вяло погромыхивало. Не то гроза, не то пушки.

– Ты – раб! – презрительно бросил разглагольствующему ветерану проходящий мимо длинноносый солдат с темными блестящими глазами. – Рабом всю жизнь прожил, и сдохнешь рабом среди вшей в окопах.

Пока ветеран, прерванный столь бесцеремонным образом, находился с ответом, один из молодых со щелчком раздавил ногтем очередную вошь и спросил черноглазого:

– А как же по-твоему надо? Не воевать, что ли? Пускай приходят и нашу землю берут?

– Много ли у тебя своей земли-то? – серьезно спросил черноглазый. – Пять десятин, шесть на всех? А у помещика вашего? А сколько ртов в семье? А если ты после войны выделиться захочешь? – и не дожидаясь ответа, продолжил. – Неужто вам до сей поры непонятно, что насупротив нас в окопах такие же крестьяне сидят, только германские, австрийские, румынские. И земли у них столько же, и так же помещики на их горбу ездят... За ради чего нам убивать друг друга? Но раз уж все равно винтовки народам раздали, так ясно, как день, что надо теперь обернуть оружие против тех, кто всю эту войну затеял, и скovyрнуть их, как вон ты вшей давишь...

– А дальше чего ж будет? – заинтересованно спросил молодой солдат.

– А дальше замиришься всем трудящимся людям промеж собой, поехать домой к родителям и своей дивчине, поделить землю по справедливости и растить на ней хлеб и детишек, – негромко и задушевно произнес черноглазый, рукавом стер под длинной ноздрей присохшую соплю и пошел дальше, по своим делам.

– Оно бы так и ладно вышло, да только непонятно... – протянул вслед ему молодой солдат.

– Вот! Что я вам говорил! – возвысил голос ветеран Мукдена. – Зараз все в одном – доподлинный жид, скубент, и еврей тоже наверняка.

– Большевик он, из второй роты, – возразил один из молодых. – Кузьмой кличут.

– Так вот это они самые и есть, как я сказал. Все сплошь, плюнуть некуда, – утвердил ветеран. – От них вся смута идет.

– А что патронов нет и снарядов у артиллерии – это тоже скубенты с большевиками виноваты? – зло бросил молчавший доселе солдат. – Правду говорят: рыба с головы гниет...

Степка выплюнул изжеванную травинку и уточнил:

– Жабры у ней поперву гниют, которыми она дышать приспособлена, – помолчал и закончил. – Душно вот теперь... Дышать нечем...

Не ожидая ответа на свои слова, снова стал смотреть на небо. Все уж переговорено, ничего нового не скажут.

А в небе все менялось ежеминутно. Вот, уже исчезла корова с отвисшим выменем, и стог сена вытянулся вверх, словно занялся розово-золотистым бездымным пламенем, а баба в платке стала еще толще, будто бы на сносях...

«Агафон небось нынче уже болтает всюю, – вспомнил Степка. – Что там малые-то бормочут? Зовет: мамка, мамка! А Грунька и не слышит. Он тогда: папка, папка! Кто откликнется?.. Никто. Родного отца нет, он на чужой стороне вшей давит... А иного – не будет! – с какой-то мстительной радостью подумал Степан. – Никогда! Кто ж еще на нее, глухую уродину, польстится?»

Вдалеке снова гроыхнуло, и было уже ясно, что это – точно, пушки. Канонада. Белые облачка, не похожие ни на коров, ни на бабу в платке, вспухали над дальними горами. Восьмая германская армия наступала неторопливо и методично. Пройдет совсем немного времени – и здесь, на берегу речки, другие солдаты станут рассуждать о том же самом, только на немецком языке.

* * *

Глава 7.

В которой Луиза Гвиечелли показывает фокусы в сумасшедшем доме, Глэдис Макдауэлл проводит ночь в необычном обществе, а Атя с Ботей думают о будущем

Алле-оп! – скомандовала худая носатая девушка, одетая в высокие сапоги, мужские бриджи и белую кофту с пышным, явно самодельным жабо. Поверх кофты был накинут темно-синий плащ, сделанный из пикейного одеяла.

Из высокой кухонной кастрюли, стоящей на крашенном белой краской столике, вылетел сизый голубь. К его лапке была кокетливо привязана красная ленточка.

– А-а-ах! – дружно ахнули собравшиеся.

Кто-то свистнул, кто-то зааплодировал.

– Bravo! – крикнул из кресла на колесах плешистый старик и застучал об пол клюкой.

– Bravo! Bravo! Бис! – весело брызгая слюнями, шепеляво подхватили трое молодых мужчин, сидящих в ряд на обтянутой дерматином кушетке.

Средних лет медсестра подошла и по очереди вытерла им лица полотенцем.

Луиза раскланялась и принялась собирать немудреный, полностью изготовленный ею самой реквизит. Фокусы в сумасшедшем доме на сегодня закончились. Всех больных ждал ужин, водные процедуры и отход ко сну.

– Луиза, ты как всегда великолепна, – похвалил девушку Адам Кауфман. – Я видел уже много раз, но, как ни стараюсь, не могу разгадать ни одного твоего секрета. Куда девается тот цветок в горшке и откуда в кастрюле берется голубь?.. Луиза!..

Девушка, не глядя на психиатра и как будто не слыша его, продолжала свое дело – сматывала ленты и начала упаковывать в плотную бумагу два небольших зеркала.

– ... Ну, хорошо – Екатерина! Теперь ты меня слышишь?

– Разумеется, Адам Михайлович, – спокойно откликнулась Луиза, которая зачем-то неукоснительно требовала от всего больничного персонала, чтобы ее называли исключительно партийной кличкой. – Скажите, когда меня выпустят отсюда? Я чувствую, что еще немного, и я здесь действительно рехнусь...

– В каземат Петропавловской крепости – хоть сейчас, – усмехнулся Адам. – Со всеми прочими вариантами придется обождать. Ты же знаешь, каких трудов и денег стоило твоим родным перевести тебя сюда из тюремной больницы...

– А нельзя ли в ссылку? – задумчиво спросила Луиза. – В принципе, я слышала о Сибири немало хорошего...

– Увы, Сибирь не в моей компетенции. И слава Богу...

– Куда угодно! Почему я не мужчина? Будь так, могла бы пойти на фронт...

– Не обольщайся: нашим выпускникам не дают в руки оружие.

– Я так надеялась, что они устроят мне побег. А они, похоже, обо мне просто забыли...

– «Они» – это террористы из вашей группы? Ножовка в пироге с капустой, подпиленная решетка, спуск по стене на разорванных простынях? Екатерина, тебе уже достаточно лет, чтобы научиться отличать действительность от романтических фантазий.

– А где, собственно, я могла приобрести этот важный навык? – язвительно осведомилась девушка. – Домашнее воспитание между двух роялей, боевая группа эсеров, тюрьма, сумасшедший дом – вот вам все без исключения этапы моей биографии. Почти идеальный набор для формирования реалистического взгляда на мир, не правда ли?

– В общем, ты права, – подумав, согласился Адам. – Тем более, что сейчас и в реальном-то мире творятся какие-то совершенно нереальные вещи... Наполеон Начинкин сказал мне, что ты готовишь новый фокус с исчезновением. Это правда?

– У нас в партии его бы уже прикончили, чтоб не выдавал секретов, – равнодушно сказала Луиза. – А здесь я просто пошлю его к черту. Вместо него возьму помогать мне Ворона и Македонского. Один каркает, другой боится убийц, но оба хоть не болтают...

* * *

В приемной оба подоконника и большая цветочная стойка уставлены горшками с растениями, большей частью в цвету. Варвара Тарасовна разводила цветы всюду, где бы ни обособывалась, свято уверенная, что в процессе лечения скорбных духом природная красота – первое дело. Лимонное деревце роняло душистые зеленоватые лепестки на учетные карточки, которые помощница доктора Кауфмана вдумчиво раскладывала на письменном столе.

– Варвара Тарасовна, я тревожусь за Луизу. Ее дух слабеет медленно, но неуклонно. Она родом из очень большой и дружной семьи. Ей не хватает обыкновенного человеческого общения. Брат часто навещает ее?

– Альберт Львович? Да нет, у него же вечно дела... Хорошо, если раз в неделю заглянет на часик-другой. А с его женой Лиза сама общаться отказывается... Прежде она все ждала кого-то...

– Террористов?

– Нет, женщину какую-то. Сначала так уверенно мне говорила: она непременно за мной придет и меня вытащит. Потом начала, вроде, сомневаться. Сидит, бывало, вечером, смотрит в темное стекло и головой качает: когда же она меня заберет? Когда же она меня заберет отсюда? А теперь-то и вовсе сникла, разуверилась...

– Может быть, мать?..

– Нет, точно нет. Родителей Лиза вовсе не вспоминает.

– Тогда – ее кузина Камилла Гвиечелли. Они были очень близки. Камилла умерла родами, когда Луиза была в тюрьме, но она, быть может, не верит?.. Или призывала ее забрать с собой – на тот свет?

– Нет, Адам Михайлович, другое имя, не Камилла...

– Луиза называла имя?

– Так-то вслух не называла, но на бумажках писала – вроде заговоров каких-то, что ли... А потом стихи еще...

– Стихи?

– Ну да, Луиза же у нас талант – не только фокусы показывает, но и стихи сочиняет. Вы не знали, что ли? С Пушкиным нашим из третьей палаты не сравнить, конечно (он ведь до болезни-то в журналах печатался), и даже Байрон из первой получше будет, но все равно складно... Да где-то у меня здесь в шкафчике было... Сейчас, сейчас... Это письма в Римский сенат... это Конституция российских народов от пятой и восьмой палат... это от Наполеона – план раздела мира после поражения Центральных держав... А вот, я же говорила – нашла! Прочтите...

Адам развернул вдвое сложенный листок и прочел:

В тихий полночный час
Опять и опять, заново
Я призываю Вас,
Люша Розанова.

Звезды в ночи горят
Мильонов, быть может, двести,
Я не могу понять,
Почему мы не вместе.

В профиль или в анфас,
Кого я теперь обманываю?
Я полюбила Вас,
Люша Розанова.

Ваши пути на звезду,
Что светит в зимнем окне,
Вам наплевать, что я жду,
Забыли Вы обо мне.

Слезы из вещей глаз,
Навек в пустоте оставлена, —
Я проклиная Вас,
Люша Розанова.

Закончив читать, пробежал глазами еще раз и, аккуратно сложив, убрал листок в карман.

— Господи, вот случай, вот случай... — пробормотал Адам себе под нос и закончил громко. — Варвара Тарасовна, так случилось, что я хорошо знаю Люшу Розанову. Думаю, что следует показать ей эти стихи.

* * *

— Война мне физически неприятна. Как фальшивый мотив, или карточное жульничество, или жужжание навозной мухи под кастрюлей.

Война как-то ускоряет все. Не успеешь с кем-нибудь разговориться, поспорить, глядь — он уж на войне, да там уже и убит, чего доброго... Конечно, надо признать, что в жизни и без войны все то же самое: только поймешь, чего тебе старшие говорили, захочешь уже согласиться, поблагодарить, а они — глядь, уже и умерли все. Да и тебе в общем-то уже скоро... Когда я думаю о том, что в моей Америке уже давно умерли большинство из тех, кого я знала — взрослыми, умными, сильными... это грустно, но закономерно. Но война, повторюсь, все как-то неприятно ускоряет.

Крохотная комната в мансарде — косой потолок, тканый ковер с козочками, водопадом и альпийскими домиками, на широком подоконнике вперемешку горшки с фиалками, реквизит (шапокляк с бантом, платки, сломанное блюдо с фальшивым цыпленком, веер из бумажных цветов), надкусанное печенье, свежий журнал «Нива», наспех заложенный рожком для обуви... Островок безалаберного уюта, который все последние годы казался еще и островом надежности, а теперь вдруг сделался тем, что он есть: кучкой цветного мусора, прибитой ветром к чьей-то глухой стене. Хозяйка, Глэдис Макдауэлл, говорит и ходит от дивана к стене — убирает за ситцевую занавеску сценические костюмы, сваленные грудой, чтобы гостье было на чем расположиться. Впрочем, гостье вполне хватает небольшого угла дивана, она и сама невелика.

— В нашем ресторане сейчас является много стремительно и несправедливо разбогатевших на войне подрядчиков. Кутят напропалую и все время испуганно оглядываются. На кого?

Как у вас говорят: на воре и шапка горит... Может, как выпьют и ослабят запоры на своем сундучно-накопительном разуме, к ним невидимо приходят души солдат, убитых или умерших из-за некачественных шинелей, сапог, еды, боеприпасов?

А что делается у тебя, Крошка Люша? Что твой муж, детки?

– У меня все по-прежнему. Детки выкаблучиваются кто как может. Александр ходит в сапогах и лысеет со лба. Голубкина дочка Белка таскается за мной как большая собака, точь в точь мать – это греет мне зад, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Расскажи мне еще про хороших цыган, они меня прогнали, но я, как ни странно, по ним скучаю. Даже во сне иногда вижу, как танцую и пою в хоре... Музыка снится... Что там Яша? Манита, Вера? С кем я там еще зналась...

– Манита... Ты разве в газетах не читала? – Скандал был изрядный.

– Пропустила. Что с ней?

– Офицеры позвали хор в кабинет, потом всех отпустили, а Маниту попросили присесть к столу. Она красавица стала, тут надо признать – губы рубиновые, румянец персиковый, глаза черные с золотом... В общем, час проходит, другой пошел... Отец Манитин сидел, по-русски говорят: как на иголках, потом стал стучать в дверь. Офицер его впустил. Отец увидел Маниту с бокалом вина и велел ей убираться. Офицер был уж сильно пьян, взбеленился, выхватил пистолет и застрелил цыгана наповал...

– Вот сволочь! – воскликнула Люша. – И бедная Манита...

– Суд был, отправили офицера на фронт, в действующую армию...

(описан реальный случай, произошедший в одном из московских хоров в 1914 году – прим. авт.) А у меня через твоих цыган и вовсе диковинная встреча вышла...

– Расскажи!

– Карну Васильевну помнишь?

– Конечно! Жена Яши. Красавица, на мой вкус, хоть и в годах.

– Ну вот. Месяца полтора назад, во втором часу ночи, в ресторане (вся программа закончилась, я уж разгримировываться села), вдруг прибегает Карна ко мне и говорит: «Глэдис, душечка, не спрашивай ничего, а только пойдем сейчас к нам «в табор»». Ну что ж, не спрашивай, так не спрашивай, я подхватила – пошли. Сама знаешь, до их дома – минут семь пешком, если через Петровский парк, по «аллее вздохов» идти. Так мы, стало быть, идем себе, а мимо – лихачи, «ваньки» с официантами, закусками, вином, фруктами, посудой. Чтобы, значит, к приезду гостей уже стол был накрыт. Но кого же ждем? Карна молчит, я не спрашиваю.

Пришли.

Хоровые расположились в гостиной, официанты в столовой суетятся, я к бабушке их цыганской пошла, чаю с ней выпить. Люблю ее послушать, хоть она и жалуется вечно... – Крупная и тяжелая Глэдис вдруг удивительным образом преобразилась в маленькую высохшую старушку, зябким движением запахнула на груди несуществующую шаль и, посасывая воображаемую трубочку, шамкающим голосом продолжила. – «Вот живу в Москве... И деньги есть, и забот никаких... А все табор снится. И так мне хорошо, так сладко! Песни раздольные, подколесные поют, дымком костровым попахивает... Никаких духов, декалонов не надо! И там цыгане, и тут цыгане, да не те... Здесь о гостях да «лапках» (индивидуальное подношение гостя цыганке – прим. авт.) без конца толкуют, а там люди со степью, с лесом, с дорогой душами срослись и промеж собой тоже – одна душа в другой петь способна...»

Стало быть, гоняем мы вот так вот со старухой за беседой чаи, вдруг цыганенок прибежал: тетя Глэдис, мама вас скоренько кличут!

Вышла. Гляжу – батюшки светлы! – у входа в гостевой зал стоят два высоченных жандарма и на меня косятся. Я уж было подумала, что арестовали кого...

Тут как раз хор глянул:

«Григорий Ефимович,
Ай да молодец!
Изволил ты пожаловать
К цыганам наконец!
С твоим-то покровительством
И мы не пропадем –
Да чарочку заздравную
Тебе мы поднесем!»

Вхожу в зал, присаживаюсь на козетке в уголочек. Хор выстроился у балконной двери. Яша – впереди всех, с гитарой. За столом военные сидят – молчат, тянутся, как аршин проглотили. Посреди всех, как кучер на козлах – сгорбившись, руки на коленях, сидит мужик – косоворотка с васильками, в поддевке, в сапогах. Усы вислые, волосы гладкие и блестят, как у морских котов из цирка. Скучно мужику и маятно – сразу видно. Перепил, может, или просто устал – время-то уже к утру, как-никак.

Распутин! – про которого говорят, что он в России чуть ли не главнее царя. Ух как интересно!

Карна поет:

«Выпьем мы за Гришу,
Гришу дорогого –
Свет еще не видел
Милого такого.

Поднесла ему на перевернутой тарелке бокал шампанского.

Хор гремит:

«Пей до дна!
Пей до дна!
Пей до дна!»

Он выпил нехотя. Яша ударил по струнам, все запели, заплясали, захлопали в ладоши, юбками завертели... Ну сама знаешь, как это у цыган бывает – словно цветной дождь по крыше стучит или конфетти горстями сыплют...

«Гришу дорогого» все это явно нимало не занимает – привык, наскучило. Сидит, зыркает глазами, даже не ест не пьет. Карна подошла ко мне, говорит, задыхаясь, чуть не плача:

– Глэдис, душечка, чего ему от нас надо-то? Чем не угодили?
– Да ничего, – отвечаю. – Ему ничего уже от вас не надо – в том и кручина его.
– Может, ты...?
– Ну, вели моих цыплят принести.

Я приготовилась, пожонглировала, как водится, цыплятами на тарелках. Распутин выпрямился немного, велел одного цыпленка ему на пробу подать (я того ждала и уж наизготовку была – подменить), отломил половину – съел, мне показалось, чуть не с косточками.

Карна глазищи свои цыганские таращит:

– Глэдис, прошу!

Я мозгами пораскинула: мужик он и есть мужик, если ему цыганские пляски нынче не в радость, может, американские подойдут?

Хорошо, что цыганские гитары ко всему могут подстроиться, да и бубны у них всегда рядом...

Скоро, честно тебе скажу, стало мне на «дорогого Гришу» в достаточной мере наплевать. Вспомнила я молодость, как в мужском костюме, да еще и под негра загримированная танцевала – кэйкуок, buck-and-wing и прочее такое же.

Распутин спрашивает:

– Где же это такое танцуют? Расскажи, добрая женщина...

Я говорю:

– Раньше негры-рабы на плантациях танцевали, вроде соревнования у них было, а потом – в американских, можно сказать, трактирах. От ирландцев еще добавилось, моих предков, когда они в Америку бежали от своей войны. Вот это движение называется «змеиные бедра», это – «каучуковые ноги», это – «чесотка», это – «лихорадка». Не желаете ли попробовать?

Тут Распутин рассмеялся, положил ладони на стол:

– «Чесотка» – эка, а? А по-нашему можешь?

Я Яше мигнула, он чуть пошевелил гитарой и хор также медленно и чуть слышно запел:

– Барыня, барыня,
Сударыня, барыня...

Постепенно темп все быстрее, звук все громче. Зал полон песней, у цыган рвутся струны. Военные хлопают, даже жандармы у двери зашевелились, заулыбались.

Я схватила салфетку со стола и пошла в пляс по-русски, взмахивая ею. Распутин тут же что-то, окая, прокричал, тряхнул плечами и пустился в пляс. Пляшет он хорошо – я уж могу судить, приседал ловко, хлопал по голенищам. Все вокруг нас ухало, хлопало, подкрикивало... Сам же пляску и оборвал.

Потом еще ходил звонить, вроде во дворец. Цыганята подслушивали, говорили: называл императрицу «мамой», царя «папой», а цесаревича «Олешей». Потом распахнул поддевку, хвастался всем, что васильки на рубашке «сама вышивала!» Пьян уже был? Не знаю. Глаза острые оставались до самого конца, без всякой мути...

– Чавалы, отъезжаю!

– Надоели вы, как черти, –
Спать нам хочется до смерти...
Спать, спать, спать,
Пора нам на покой –
Целый день пляши да пой!

Вот так. Расплачивался с хором и официантами полковник, из военных за столом. Это его жена привезла «в табор» Распутина. Угощала цыганами, чтобы он поспособствовал – оставил полковника в Москве (его на фронт отправляли). Вроде помогло им...

– Ух ты, интересно! – согласилась Люша. – Мне нравится.

– Что – нравится? – уточнила Глэдис.

– Что царица ему сама рубашку вышивала. И как ты негритянские танцы плясала, а жандармы притопывали. Мир – кружева...

– Пойми тебя! – вздохнула Глэдис и сильно, до хруста потянулась всем своим большим телом.

Плечики с костюмами, которые она как раз кончила развешивать, тут же рухнули, смяли занавеску и расплескались по полу веселой разноцветной пеной.

* * *

Ледяной дождь стучит по крыше, словно сто маленьких барабанов. На дворе и в парке темно, мокро и холодно. В комнате тоже темно и прохладно. Только лампадка синего стекла горит в углу перед иконой. Печи топили уже ближе к вечеру, но на ночь открывали фортку и проветривали. В Синих Ключах не как в окрестных усадьбах – там на зиму окна насовсем закрывают, а во вторых рамах и вовсе форток нет. Но здесь хозяйка считает, что свежий воздух всем полезен. Никто с ней, кроме гувернантки-англичанки, не согласен («Что еще за свежий воздух такой, когда самая стынь на дворе?!» – ворчит в людской Феклуша), но кто ж возьмется перечить? На самом-то деле Любовь Николаевна просто наглухо закрытых окон боится – это все знают, но о том никто не говорит.

Атя и Ботя спрятались на кровати под одним одеялом, как мышата в норке. Атя свернулась в крошечный клубочек, а Ботя обхватил ее сзади руками. Они молча слушают дождь, им тепло и томно.

– Мы будем врозь жить, но все равно вместе, да? – спрашивает Атя. Ее глазки даже под одеялом находят свет и остро поблескивают в темноте.

– Конечно, – соглашается Ботя. Он мысленно составляет план шкафа в своей новой комнате, в котором разместятся его коллекции. Завтра надо будет зарисовать его на листке бумаги, не забыть проставить размеры и объяснить плотнику.

– Нас только двое, а остальные вокруг – благодетели. Так? – настаивает девочка.

Ботя плохо понимает сложное про людей, но опять соглашается. Атя была с ним рядом всегда, сколько он себя помнит. И будет всегда – как же иначе?

– Мы друг у друга есть, это много. У иных и того нет, – задумчиво говорит Атя. Ее слова мягкими катышками падают в ватную тьму. – И у нас все-все впереди. И ничего не держит. Куда захотим, туда и пойдем. Нам ведь с тобой, какие мы есть, ничего не страшно, правда?

– Правда, – говорит Ботя и, предположив, что сестра может огорчиться краткостью его откликов, добавляет, впервые с оттенком чувства. – Я бы вот хотел пойти червей изучать. От них все прочее произошло, потому оно и важно.

– Эх ты, червяк обсосанный... – нежно говорит Атя и трется щекой об руку брата.

– Сама сучка драная, – ласково глядя ее по голове, отзывается Ботя.

За окном бесприютно и одиноко гуляет ветер, треплет ветки деревьев, воет в трубах, заливая стекла дождевой водой.

Атя жалеет ветер, который никогда не пустят под одеяло в теплый дом, но не умеет об этом сказать. Ботя думает о своем новом барометре и стойком, уже три дня продолжающемся снижении давления. Недавно в «Естественной истории для юношества» он прочел, что лягушки умеют предсказывать непогоду, и теперь пытается сообразить, как бы это проверить.

Атя уснула.

Ботя смотрит в темноту. Скоро им с Атей исполнится одиннадцать лет. Теперь, когда у него будет отдельная комната, можно попросить в подарок террариум.

Время в комнате как будто споткнулось и остановилось чуть-чуть передохнуть.

За окном 1914 год.

Все еще впереди.

Глава 8, в которой Адам Кауфман пишет письмо жене и знакомится с колдуньей Липой, а Люша недоумевает и делится своими сомнениями в письме,

Здравствуй, дорогая супруга Соня!

Ты просила описать тебе все впечатления моей поездки подробно, как ты много слышала об этих Синих Ключах и тебе любопытно. А уж сколько я слышал... Писать я, как ты знаешь, не мастак – мне всегда говорить проще и сподручнее. Вот у Аркаши было наоборот – писал он неизменно складно и даже местами с художественной красотой, а вот говорить тушевался... По Аркадию Андреевичу, по всей видимости, носит траур хозяйка Синих Ключей Любовь Николаевна Кантакузина. Сие, если бы это была не она, выглядело бы дико и неуместно (при вполне живом-то муже, пребывающем тут же, в усадьбе). С нее же – бывшей босячки, цыганки, леди, эротической танцовщицы эт цетера – все станется. В черном кружевном платье похожа она на сгоревшую розу. Где-то внутри пепельного бутона, впрочем, тлеет искрой непогасший огонек. Если бы не крошечный ее рост, что-то в ней от молчаливых, всегда в черном женщин Кавказа – отвесные кручи, ледники, родники, булат и горячая магма внутри...

Однако выполняю твой наказ, дорогая супруга.

Хозяйство в Синих Ключах большое и организовано отменно. Посреди заснеженных садов и огородов стоят четыре больших оранжереи: в одной – персики и мандариновые деревца, в другой – только розы и орхидеи, в третьей – прочие цветы. Четвертая – под овощную продукцию, и каждый день свежая зелень на столе.

Двухсветный зал с бело-сине-голубыми витражами – красиво очень, сделало бы честь и петербургскому особняку. Называется – зал Синей Птицы. Синяя Птица – личное имя дома. Все это знают. У Птицы два крыла – северное и южное, и голова – башня с обсерваторией. Оттуда регулярно смотрят в телескоп на звезды сама Любовь Николаевна, мальчик-акробат Кашпарек и мой пациент – трехлетний Владимир. Прочим звездная канитель побоку, заслоненная более важными вещами.

Далее – белая гостиная с роялем, на котором господин Кантакузин, если придется, весьма сноровисто играет этюды и менуэты. Любовь Николаевна садится к роялю изредка, когда уверена, что никто не войдет и даже не услышит, и играет патетически и драматически все подряд – от школьных упражнений до полек и Моцарта, все – в одинаковой, странно запинаящейся манере, как если бы взрослый человек только учился говорить. Все дети обучаются музыке с учительницей, но успехов, кажется, не делает никто, кроме белокурой Оли, которая, впрочем, тоже берет не талантом, а усидчивостью и старанием.

На застекленной и утепленной веранде стоят лавровые деревца в кадучках (летом их выносят на открытую галерею) и пьют чай, любуясь прелестным видом на озеро и раздольные поля с перелесками.

Парк огромен и разумно ухожен. Летом он наверняка предоставляет хозяевам, их детям и гостям усадьбы развлечения в избытке – качели, катание на лодках, на лошадях (для маленьких детей имеются пони), площадки для лаун-тенниса и крикета. Нынче на прудах расчищен каток. В беседке оборудована печка – там переодеваются для катания на коньках. Я пробовал кататься впервые с гимназических лет и имею возможность своей ловкостью гордиться – ни разу не упал. Впрочем, о таких кульбитах, которые согласно выделывают на льду Оля и ее партнер Кашпарек, даже и помыслить страшно – на их номер собираются смотреть со всей округи, и немало расквашенных носов и вывернутых лодыжек возникают окрест в самонадеянности местной молодежи повторить их, изумительной грациозности движения и позы.

Почти все насельники Синей Птицы – отличные лыжебежцы. Сбегать на лыжах за десять верст на железнодорожную станцию может даже восьмилетняя Капитолина. Кроме того, Анна (все зовут ее Атя) диковинным образом запрягает в специальные саночки собак, и с дикими криками носится на этой упряжке по полям и по лесу. С ней часто ездят по очереди малыши – Агафон и Владимир. Взять их вдвоем нет никакой возможности, так как они друг друга терпеть не могут. Крупный и сильный Агафон колотит Владимира до черных синяков и непонятно с чьего голоса дразнит «чертякой» и «нечистой силой». Владимир кличет обидчика «выблядком» и строит в отместку нечастые, но диковинные пакости. К примеру, не так давно в кровати Агафона вдруг оказалось единомоментно около сорока мышей. Две или три из них укусили мальчика, и укусы болят посейчас. Никто не видел, но все в доме абсолютно уверены, что мышей приманил Владимир. Он и сам того не отрицает. Но как, скажите на милость, он это сделал?!

Для меня несомненно одно: Владимир – психически нездоров (как и его отец). У него уже бывали эпизоды, напоминающие летаргию. Он склонен к стереотипным движениям и эхоталиям. Его фантазии вычурны и болезненны. В общем-то он довольно неприятный и болезненно упрямый ребенок, и уже помянутый мною Кашпарек – единственный в усадьбе, кто может с ним сладить практически всегда. Впрочем, довольно значительную часть времени Владимир проводит в лесу, на попечении своего деда-лесника, психически больного отца (моего бывшего пациента Филиппа Никитина) и «колдуньи Липы», пожилой местной знахарки-травницы. Последнюю я имею намерение посетить – кроме исследовательского любопытства к ней самой, как к явлению, я надеюсь, что она сможет дать мне какие-нибудь полезные сведения о развитии и особенностях Владимира, которого наблюдает с рождения...

* * *

– Мы все попадаем в ловушку к старости. Годами и десятилетиями копим силы, деньги, опыт, развиваем ум, различные полезные навыки, приобретаем мудрость и терпеливость,

но когда наконец приходит время всем этим воспользоваться, оказывается, что уже поздно и жизнь списала нас со своих счетов, выпустив на все свои соблазнительные лужайки новую поросль – молодых и бестрепетно нетерпеливых, без денег и совершенно без мудрости... –

Колдунья замолчала, сложив на округлом, обтянутом вышитым передником животе пухлые короткопалые руки.

Адам с интересом оглядывался по сторонам – в избушку-полуземлянку он попал первый раз в жизни, да и сказок русских про бабу Ягу и избушку на курьих ножках ему в детстве не читали и не рассказывали.

Люша, стоя у стены, дразнила травинкой филина Тишу. Огромный и грозный на вид Тиша, не заводясь по-настоящему, сидел на специально прибитом к стене суку и лениво щелкал клювом. Владимир играл с кошками. Большой, угольно черный кот воротником разлегся у него на плечах. Еще один, серо-полосатый, с громким урчанием ходил вокруг сидящего на дощатом полу мальчика, обтираясь боками об его суконную курточку. Рыжий котенок-подросток, грациозно изгибаясь, ловил пляшущий бумажный бантик, привязанный к обрывку бечевки.

Помимо картинно большого и закопченного котла, свисающих с балки пучков сушеных трав, филина, черных кошек и прочих традиционно колдовских атрибутов, явно или неявно предназначенных для запуска работы фантазии посетителей, на грубо сколоченной полке остроглазый Адам разглядел подшивку московского акушерского журнала, справочник по детским болезням и несколько переводных французских романов. А все выстроившиеся на отдельной полке темного стекла склянки (с зельями?) были с наклеенными этикетками и подписаны аккуратным округлым почерком.

«Не такая уж она колдунья из леса», – подумал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.